

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 10

1971



Олег СМЕРНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

СКОРЫЙ ДО БАКУ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 10

Олег СМИРНОВ

СКОРЫЙ ДО БАКУ

ПОВЕСТЬ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1971

Олег СМИРНОВ

Олег Павлович Смирнов родился в 1921 году на Кубани, в станице Кореновской. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями Советского Союза. Член КПСС с 1944 года.

Учился на литературном факультете Краснодарского и Читинского педагогических институтов, на Высших литературных курсах Союза писателей СССР.

Олег Смирнов — автор романов «Северная Корона», «Эшелон», повестей «Июнь», «Барханы», «Девичья Слобода», «Зеленая осень», «В отрогах Копет-Дага», сборников рассказов «Мой дом — на Востоке», «До звезд рукой подать», «Медвежий Хребет», «Подкрепление», «Мы еще подышим ветром», «В Сосновой пади», «Макушка лета» и др.

Олег Павлович Смирнов
СКОРЫЙ ДО БАКУ

Редактор — П. А. КРАВЧЕНКО.

Технический редактор Я. М. Борисов.

Сдано в набор 18.III.1971 г. А 00556. Подписано к печати 10/V 1971 г.
Формат бум. 70×108¹/₃₂. Объем 2,10 условн. печ. л. 2,95 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 1097. Заказ № 811.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Веселая это станция — Минеральные Воды. Веселая в смысле оживленная. Суета, толкотня, скученность. Да и то сказать: Минводы не минуют поезда дальнего следования на Москву и Баку, на Киев и Ереван, на Ленинград и Одессу, на Симферополь, Свердловск плюс местные — прикумские, прохладненские, невинномысские, георгиевские, суворовские, плюс кисловодские электрички, каждые двадцать — тридцать минут отчаливающие от платформы и причаливающие. Народ у касс, в залах ожидания, на бесчисленных скамейках у изогнутой полукругом колоннады вокзала, у клумб на обширном перроне, у чугунных оград в скверике, у автобусных остановок на привокзальной площади. Конечно, пассажиров рейсовых и городских автобусов меньше по сравнению с пассажирами железнодорожными — это главная здесь фигура, особенно курортники, едущие промыть свои внутренности лечебными водами Ессентуков, Железноводска, Пятигорска, Кисловодска. Здешние жители (мужчины, естественно) предпочитают промыться пивом либо чем покрепче в станционном ресторане, буфете и окрестных ларьках, которых так же в избытке, как и скамеек на перроне и вокруг.

В июньские вечера на станции сильные запахи: мазута, пыли, нагретого асфальта, пота, масляных, с пылу, чебуреков, шашлычного и табачного дымка, сдутой пивной пены, цветущей акации. Иногда эти запахи смешиваются в нечто общее, неразделимое, а иногда будто распадаются по отдельности — это если повеет ветерок. И шум толпы — иногда слитный, однообразный, иногда в нем проскакивает женский хохот, плач ребенка, лязг буферов, заученное и бесполое бормотание репродуктора: «Граждане пассажиры, до отправления поезда...»

Может быть, Мельников слишком привык к репродукторным вокзальным словам, потому что и своим домашним он говорил: «Ну, подготовился к отправлению». Сейчас до отправления, то есть до выхода из дому, оставалось минут сорок, и Мельников

не торопился. Он лежал на травке, на байковом одеяльце, под яблоней — в белой майке и черных тренировочных брюках; в брюках было жарко, все-таки июнь, но теща и в июле не разрешала Мельникову выходить в трусах, хотя соседские мужики по своим дворикам как хотят ходят. Теща есть теща, подчиняйся, в холостежи пощеголял в трусиках, теперь парься в тренировочных штанах. А жарко, это точно.

Мельников вытер потной ладонью потный лоб, почесал волосатую грудь и шею в обильных мелких родинках, будто в веснушках. Он был рукастый и длинноногий, стопы торчали за одеялом, в пыльной траве. Жара, пылюка, сухота. Давненько дождя не было. Кваску бы испить! Да лень подыматься, кликать жену или тещу неохота. Теща не в духе: зарплату — его и жены — проели, теща выкладывает свою пенсию, и в такие дни она бурчит, зятя называет не Васылем — Василием Николаичем, а он ей вместо «мама» — «мамаша»: у него тоже портится настроение. Ну, а жена в положении, беспокоить лишний раз ни к чему. Перед отправлением выпью кваску, самолично нацēju.

Женщины в доме, а Толька, пострел, носится где-то. Мельников повернулся на спину, и майка сразу прилипла к спине. Конечно, в комнате попрохладней, но воздух затхлый, лучше уж на воле поваляться, какой-никакой тенечек.

Он заложил руки под затылок, вдохнул и уловил сладковатый и тревожащий запах: белая акация цвела за забором, на тротуаре. На улице есть и желтая и сиреневая акация, да те не пахнут, а белая пахнет. И когда нюхнешь, становишься так же сладко и тревожно. С чего бы? А ни с чего, наверно, просто смягаешь. То не обращаешь внимания, то внюхаешься — и смягкнешь. Чепуха все это, не мужское.

Сегодня воскресенье, во двориках там и сям, словно сговорившись, пели одну и ту же песенку: белые медведи крутят на полюсе земную ось. Пускай себе крутят, как заведенные. А тут поют, как заведенные, с утра про этих самых белых медведей: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля...» Кому воскресенье — отдых, кому — трудиться. Правда, полдня все же дома — это что-нибудь да значит. По утренней нежари подбелил стволы груш и яблонь, собрал и пожег сухолом, прополол огородные и цветочные грядки — по собственной инициативе, для души; потом провернул через мясорубку кило говядины на фрикадельки и котлеты — по просьбе жены; подбил перилы на пороге, не пожалел гвоздей, чтоб не шаталось, — по указанию тещи; в альбоме порисовал пограничников в зеленых фуражках — для Тольки: нравятся ему зеленые фуражки, да и болтаться на улице будет меньше; потом вздремнул, отобедал, и вот скоро собираться. Будто угадав его мысль, к жердевой изгороди меж-

ду дворами подошел сосед, Савелий Степанович Дудукин, спросил:

— Вскорости на смену?

— Вскорости,— ответил Мельников.

— С шестнадцати заступаешь?

— С шестнадцати.

— До ноль-ноль часов?

— Как положено: восемь часов отдай.

— Нормальный рабочий день,— сказал Савелий Степанович Дудукин и дернул небритой щекой. Само собой, он был в трусах и без майки — плоская грудь в седой шерсти, плоские, без икр, ноги: старичок.

Мельников знает: щека у соседа дергается на нервной почве, а вопросы его — так, для приличия. После вопросов начнет философию разводить, то да се, частенько повторяется. И нынче повторился. Дернув щекой, сказал:

— Я так трактую сию проблему: все возвращается на круги своя. Как записано в одной духовной, а будем точны, в философской книге.

— Савелий Степаныч,— вежливо вставил Мельников,— в философской литературе я не подкован. Больше научными приложениями увлекаюсь...

— Да-да-да,— сказал сосед, не очень слушая Мельникова — История, Василий, двигается по кругу! Возьмем сию проблему. Перед Отечественной войной да и после войны что за мода была на галстуки? Отвечу: завязывали широким узлом, язычок получался короткий. Далее мода сменилась: узкий узелок, с булавочную головку, и язычок долгий, до пупа. А в настоящий момент? Сызнова на широкий узел переключились! Или вопрос о брюках, а будем точны, о штанинах. Раньше носили широкие: идет гражданин, у него брючины полощутся, ровно флаг. Далее: обуздили, подкоротили. А в настоящий момент сызнова клеш! В свое время песенка была у блатняков: «Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш, соломенную шляпу, а сбоку финский нож...»

— Блатные песни не люблю,— сказал Мельников.

— И я не люблю,— сказал Савелий Степанович Дудукин.— Просто вспомнил... А за модами не гонялся: как были широкие штанины, так и донашиваю десятый год. В моду, выходит, угодил! А я что, молодой, чтоб за модами гоняться? Ты другой колленкор...

— Я молодой? — сказал Мельников.— Мне двадцать шесть.

— А мне шестьдесят шесть. Как картежная игра — шестьдесят шесть.— Он хотел еще что-то добавить, но не добавил, по-

шел в глубь своего участка, потому что послышался визгливый старушечий голос: «Савка, давай-ка сюда!»

— До свидания, Савелий Степаныч,— сказал вслед соседу Мельников и увидел Тольку.

Сын перелезал через забор, как будто нельзя в калитку войти, не на щеколде же, пхнул лишь. Так и есть: шлялся на улице, чертенок! Мельников сел, скрестив ноги, и сказал:

— Толька, подожди.

Мальчишка спрыгнул наземь, подтянул трусики с явно ослабшей резинкой и, независимо медля, прокручиваясь на босых пятках, приблизился к Мельникову. Тот сказал:

— Сколько говорено: не болтайся по улице, угодишь под машину.

— Ну, говорено.

— Ты не нукай. Присядь ко мне.

Толька оглядел себя — выгоревшие трусы, коленки в свежих ссадинах и в подживших, с болячками, грязные пальцы рук и ног, вздохнул, опустился на одеяло. Мельников обнял его за костлявые, острые плечи, взъерошил отбеленные солнцем волосы. Тотчас приободрясь, Толька проговорил:

— А чего я видал, пап! Собаки связались и никак не развяжутся, перетягивают друг дружку, смехота! Пацаны в них камнями, а я не кидал.

«Вот тебе и улица, а в четыре стены не заточишь же»,— подумал Мельников и сказал:

— Умник, что не кидал. Собака — хорошая тварь.

— Тварь — хорошая? Тварью же ругаются, папа!

— Неправильно ругаются. Тварь значит зверь.

— Андрюшкина Жучка — зверь? Зверь — это тигры или там львы...

— Ладно, не зверь, а животное. Понимаешь, животное, живое существо?

В доме скрипнула дверь, словно сиповато, срываясь, вскрикнул петушок; теща, не переступая порога, пропела:

— Толик, а кто же обедать будет? Мой ручки, деточка.— И, сменив тон, Мельникову: — Василий Николаич, собирайтесь. Не то опоздаете.

Вот как, аж на «вы», высшая степень недовольства! Не отпуская от себя сына, Мельников сказал:

— Сейчас, мамаша, буду собираться.

Минутой позже дверь опять сорванно кукарекнула, и вышла Шура — льянные, как у Тольки, волосы подобраны алой лентой, раздвигая ситцевый халатик, выпирал живот. «Недалеко до декретного отпуска»,— подумал Мельников и встал. Жена двига-

лась вразвалку, почти не махая руками, как по швам, и этим до странности напоминала тещу. Жена сказала:

— Вася, брюки выглажены. Рубашку я подгладила. Одевайся.

— Спасибо. Одеваюсь.

— Вернешься вовремя?

Мельников пожал плечами.

— Если ничего не стряется, прибытие по расписанию.— Да, вокзальные словечки действительно засели в нем. Он помолчал.— Меня не жди. Спи. Тебе же утром на работу.

Он умывался под рукомойником, причесывался, натягивал брюки и рубашку, зашнуровывал и тер бархаткой туфли, а в голове вертелось: «Нужно бы девочку. Сын и дочка — вот как задумано». Тут же упрекнул себя: «Задумано — о подобных вещах нельзя так грубо, даже думать нельзя грубо об этом».

Мельников надел фуражку, произнес четко: «Будьте здоровы, мамаша»: теща что-то буркнула, мимолетно поцеловал Шуру в темневшую пятнами щеку — жена прижалась к нему мягко, боком, оберегая живот, пошарил глазами Анатолия Васильевича — нету, уже смотался, чертенок, не поел толком.

На улице густо росли пирамидальные тополя и акации, отбрасывая косые тени, но при безветрии все равно жарко и душно. На булыжнике тротуара и мостовой — слой пыли, зеркально надраенные тувельки быстренько потускнеют. Таков городок: зелени много, однако и пыли много, особенно на окраинах; при дождях — грязюка, в центре, понятно, почище.

На перекрестке Мельников столкнулся с Ларисой, и хотя это происходило нередко — что ж удивительного, живут на смежных улицах, — каждая встреча оборачивалась неожиданностью. Неожиданными были и покатые плечи, и округлые бедра, раздувающиеся ноздри с вырезом, подкрашенные синей тушью мохнатые ресницы, ямка на подбородке, на оголенном плече — аэрофлотская сумочка.

— Привет, — сказала Лариса; она что-то дожевывала, кажется, пончик.

— Здравствуй, Лара.

Он поймал запах духов, насыщенный, дурманящий, как у цветущей белой акации, — вон ее гроздь по-над заборами, и желтая с сиреневой цветут, да не пахнут вовсе. Мельников не опасался оглянуться, потому что Лариса при встречах не обращивалась: режет мостовую наискось, юбчонка обтягивает зад, вообще юбочка современная, значительно выше колен.

Пройдя полквартила по улице Анджиевского, Мельников втиснулся в автобус. Войти в переднюю дверь было бы удобнее,

но Мельников садился через другую. («Из принципа,— объяснял он Шуре.— Я не престарелый, не ребенок и, слава всевышнему, не инвалид».) В автобусной утробе было совершенно как в духовке. Пассажиры томились, распаренные, и Мельников снял фуражку. Пока доехали до привокзальной площади, взмок.

Выбравшись наконец из этого пекла на четырех колесах, Мельников отдышался, протер носовым платком внутри фуражки, водрузил ее чуть набекрень и услышал из распахнутых окон железнодорожного ресторана: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля...» Так-так, все нормально. Воскресенье — отдых и развлечения. И земля наверняка вертится, разве что не быстрее и не медленнее, а как ей положено.

— Ты мне кореш? — спросил Латков.

— Кто в тех местечках побывал, должен держаться друг за дружку.— Батаренко сцепил пальцы замком.— Чтoб к этому замочку никакая падла ключика не подобрала!

— Ну, по последней. А то Ларка причапает, воплю не обрешься. За вольную жизнь!

— Судьба — индейка, жизнь — копейка,— сказал Батаренко и, поднеся граненый стакан ко рту, начал всасывать водку сквозь зубы.

Латков же единым глотком выпил то, что было в стакане, с хрястом откусил половину огурца, другую протянул Батаренко. Тот отвел его руку.

— Баловство, Колян! Понюхаю рукав — и вся закусь. А ты грызи, грызи огурчик. Кому как нравится.

— Ты мне корешок, Сашка! — сказал Латков.— Кому как нравится, тот так и живет. И никто мне не указ!

— Золотые слова! И Ларка тебе не указ, да, нет?

— Да,— сказал Латков.

— В жизни надейся на кореша, баба продаст. С бабами по-теха, цирк! То она с одним, то она со вторым, а то и к третьему переметнется. Знаю их, клянусь здоровьем моих детей!

Латков засмеялся:

— А они у тебя есть, дети-то?

Батаренко дососал водку и, тоже засмеявшись, сказал:

— Не ручаюсь. Возможно, где-то и есть.

— А вот у меня нет, Сашка.

— Нашел об чем печалиться, Колян.

— Не печалюсь. Наоборот, не хочу, Ларка настаивает.

— Не вяжи себя! Пацаном она хочет привязать тебя, чтоб не поменял лошадь.

— Чего, чего?

— Жenu чтоб не поменял. Усек?

— Теперь усек.

— Ты говоришь: за вольную жизнь! За свободу то есть. А с законной бабой что за свобода, разве разгуляешься?

— Да не очень-то.

— Хотя я признаю: Ларка красивая, если хочешь, породистая, ну, как стюардесса.

— Она кассирша в аэропорту.

— Все одно что стюардесса. В авиации непородистых баб не держат!

— Кассирша в аэропорту,— отрывисто повторил Латков и хрустнул суставами, сжимая пальцы. Занес кулак, чтобы ударить по столу, и не ударил. Батаренко сказал:

— Уважаю злых. Мужчина должен быть злым.

— Понимаешь, Сашка, вертится она промеж пижонов-летчиков, пижонов-курортников. Только и слышишь от нее: рейс, трасса, командир корабля, летчик-миллионер, аэровокзал, штурман, немецкие туристы, английские туристы, поляки, арабы...

— Ревнуешь к изящному окружению?

— Иди ты! Просто противно, как она захлебывается, когда рассказывает... Пузыри пускает от восторга! А меня злоба давит, это уж так.

— Не разменивайся по мелочам, Колян. Размениваться надо крупно.— Батаренко встал, худенький и низкорослый, как подросток, в клетчатой распашонке, и скользящей, плавной походкой подошел к зеркалу в простенке, поглядел на себя.— Конечно, слесарь-водопроводчик — это не пилот реактивного лайнера. Так ведь?

— Ну?

— Мы с тобой трудяги, ты слесарь, я разнорабочий... А когда-то я был классным шофером. Усек? — Батаренко продолжал разглядывать свое худощавое, с маленьким ртом, чисто выбритое лицо в шрамах, затем усмехнулся и кивнул в сторону пустой поллитровки: — Горилка подвела, разогнала под уклон, и не притормозить... Ну, и злой я, спасу нет. Потому и в драки ввязывался бессчетно. Но я, заметь, редко кого бил, это меня били кулаками, некультурно, по морде, а я чаще резал ножичком...

— Писал?

— Правильно, Колян: писал перышком...

— Я тоже завожусь — дай боже! Чуть это — злоба давит... Пошли?

Латков взял бутылку со стола, хотел сунуть в карман.

— Зачем? — Батаренко поморщился.

Латков качнулся, подмигнул.

— На обмен! Сдадим посуду...

— Не мелочись. Саша Батаренко, хоть и разнорабочий на карьере, деньгой располагает, не голяк.

Латков поставил бутылку на пол, в угол, и снова подмигнул.

— Значит, есть рубли-хрусты?

— Есть,— сказал Батаренко.

Они не успели выйти, как хлопнула калитка, и по кирпичной дорожке под окном процокали каблуки. Латков нахмурился, взглянул — не на окно или дверь, а на пол, в угол.

— Ларка причапала.

— Не тушуйся,— сказал Батаренко и, поплевав на ладонь, пригладил вихор на затылке.— Мы ж люди культурные.

Лариса влетела, порывистая, стремительная, взвихрив оконную занавеску. Остановилась около стола, принялась.

— Пили?

Латков отвернулся. Ответил Батаренко:

— Не без того. Но мы извиняемся и исчезаем. Не сердитесь, Ларочка.

— Коля, не уходи,— сказала она.— Ложись, отдохни.

— Еще чего,— сказал Латков.

Она стояла, расставив загорелые руки, не снимая с плеча аэрофлотской сумки, и загоразивала выход. Латков шагнул, отеснил ее с дороги локтем.

На улице им стало очень весело, и они захохотали, перебивая друг друга восклицаниями:

— Ларка-то, Ларка, унюживала, ровно ищейка!

— А как я ей: простите, не сердитесь, Ларочка!

— А я ее локотком, локотком!

— Осталась девочка при пиковом интересе!

Потом Латков перестал смеяться, нахмурился. И Батаренко отхохотал, вытер слезы носовым платком и спросил:

— Еще тяпнуть желаешь?

— Что за вопрос! Если я заведусь — не остановишь.

— Куда баллоны покатым? К «Гастроному» на Профсоюзной?

— Можно. Хрустики есть — будем пить!

Они шли вдоль тополей с подбеленными стволами. Посмотреть на парней со спины — все в норме. Тот, что повыше, широкий костью, в синей тенниске, с крутым рыжеватым затылком и мускулистой шеей, идет размашисто, не шатаясь, маленький, черноволосый, пестроклечатый, не идет — скользит плавно и прямо, как по нитке; посмотреть спереди — красные, разопревшие, на лбу волосы слились, у Латкова глаза пьяные, у Батаренко почти трезвые, но и у того и у другого временами во взгляде мелькало что-то тусклое, жестокое. Они шли по левому краю тротуара, и встречные уступали им путь.

Было жарко, душно. Свежесть с заснеженного Эльбруса, с вершин поменьше не доходила до Пятигорья, застревала на промежуточных холмах, сохла, нагревалась и гибла. Булыжники мостовой и тротуаров источали жар. Пыль лезла в нос, в глотку. Подле брюхатых автоматов с газированной водой Батаренко расстегнул ворот.

— Уф-ф! Газировки хлебнуть, да, нет?

— Нет,— сказал Латков.— Не будем разбавлять. Жажду утолим шнапсом!

— Правильно, Колян,— сказал Батаренко.— Подчиняюсь, потому как уважаю мужской разговор.

В магазине была толча, в винно-фруктовом отделе — очередь: продавали черешню. Обойдя теток с кошечками, сумками и сетками, Батаренко протянул продавщице деньги.

— Бутылку «Московской».

Зароптало сразу несколько, громче всех — гречанка в сарафане, с косою и серьгами: становись в очередь. Батаренко учтиво сказал ей:

— Не подымай шороха. Ты за вишнями-черешнями, а я за «Особой московской», поняла, особа минводская?

Он приоткрыл в улыбке мелкие зубы и тут же скрипнул ими. Гречанка поглядела на него и замолкла.

В сквере они сели на скамейку. Батаренко сорвал фольгу с горлышка, передал бутылку Латкову. Скривясь и запрокинувшись, тот ополовинил. Пока Батаренко прополаскивал рот теплой водкой и затем сосал ее, Латков разжевывал конфетку, и щеки у него медленно бледнели, и глаза из синих становились блекло-голубыми.

Батаренко швырнул бутылку в кусты, не глядя, через плечо. Понюхал носовой платок, вытер губы и сказал:

— Вот она, радость бытия, да, нет?

— Да,— сказал Латков.— Кореш, дай я тебя поцелую.

— Целуй. Я не уважаю лизаться, но ты мой кореш — целуй, вот она я!

Из кустов боярышника с розовыми лепестками, куда Батаренко бросил бутылку, вышли кошки: черная с белой манишкой и белая, от грязи серая; они обнюхивались, били по земле напярженными хвостами. И вдруг, взыв, метнулись опять в кустарник. Дуновение сухого, жаркого ветра погнало по аллее бумажки будто наперегонки. И ветром же сломало водяные струи фонтана; посреди него, на груде камней, орел терзал змею — это во всех кавминводских городах; струйки вырывались из красных сосок, надетых на желтые бутылки,— это только в здешнем сквере.

Водяную пыльцу донесло до скамейки. Латков глубоко вздохнул и сказал:

— А помнишь, Сашка, как мы познакомились?

— Аж как!

— Я в очереди, соображаю на троих, ты подходишь: «Примешь в долю?»

— Принял.

— Теперь мы с тобой корешки. Судьба-индейка!

— Моими словами говоришь?

— Были ваши — стали наши, ха-ха!

— А что, проверено: судьба — она и есть индейка. Бить надо по ней, чтобы она тебя боялась, и будет поласковой. Как бить и куда — сам догадайся. Я так считаю: выбери направление главного удара — в военном журнале вычитал — вот и бей...

Над городом, со стороны кремнистой вершины Змейки, что возле аэропорта, разворачивался самолет, низко гудел двигателями, сверкая плоскостями. Латков проводил его взглядом, сжал кулак и занес, но не стукнул по скамейке. Батаренко закурил сигарету, спичку кинул в урну.

— Скоро Змейке макушку срежут, и воздушные лайнеры не будут опасаться этой горы.

— Источник информации? — спросил Латков.

— «Кавказская здравница». Газетки надо почитать.

— Удивительно, что Ларка не натрещала про это, — сказал Латков. — Дай закурить.

— Книжечки надо почитать. В местах не столь отдаленных я к чтению пристрастился. Наравне с картами... А как читать — подумай. Для сведения — не больше.

Второй самолет пролетел над Змейкой, и Батаренко сказал:

— Видишь, на склонах горы белеют каменоломни? Где, между прочим, вкалывает Александр Батаренко... А добывается там бештаумит — облицовочный материал. Он используется в строительстве и химической промышленности, так, что ли?

— «Кавказская здравница» пишет?

— «Ставропольская правда». И еще пишет: с тех пор, как начались разработки бештаумита, наша страна избавлена от необходимости ввозить из-за границы дорогостоящие кислотоупорные лавы. Так-то, Колян. Хотя лично мне до этого бештаумита как до лампочки.

— А мне-то? — сказал Латков и сплюнул.

Он плевал после каждой затяжки, облизывал пятнисто-розовые, словно со съеденной помадой, губы и притопывал пятками, будто в нетерпении. Батаренко, закинув ногу на ногу, покуривал, сбивал пепел небрежными щелчками.

Мимо прошаркала старуха с кошелкой на согнутой руке, пропищела:

— Бессовестные! Налили зенки... Бесстыжие!

— Чекай, бабушка, чекай,— сказал Батаренко.— На турецком наречии это значит: топай, топай!

— Или чапай,— сказал Латков.— Это на испанском.

Прошла девушка, низенькая, полная, с книгой под мышкой, на шпильках, оставлявших глубокие, как уколы, следы. Батаренко посмотрел ей вслед, покачал головой.

— Из-за таких цац два раза получал срок... Одну прижал в темном садочке, кричала, кусалась... Вторую по-другому прижал — на мостовой, машиной, не до смерти, а то б не расхлебался.

— Ты никогда не рассказывал, за что сидел.

— Не было повода. Да и знакомы мы мало. Как-нибудь обо всем расскажу. Есть что вспомнить, мне под тридцатку подкапывает — от рождения.

— А я сидел за дружинника. Их четверо было, с красными повязками, чистенькие, аккуратненькие — ко мне: «Не скандаль, пройдем с нами». Ну я показал им перо, трое отскочили, четвертый полез на меня, я его пописал, патрулика...

— А хочешь хохму послушать? В отделе кадров спрашивают: «Пьешь?» Отвечает: «По малости, когда опохмеляюсь». Смешно?

— Не очень,— сказал Латков.— Пивка бы, освежиться.

— На вокзал!

Однако их еще покружило по городу, прежде чем они попали на привокзальную площадь: перебрались в другой сквер, посидели на лавочке, полежали на травке. Батаренко вполголоса пел жалостные блатные песни, Латков сумрачно слушал, подперев подбородок; зачем-то сели в автобус, увезший их к мясокомбинату, там пересели на обратный, вернулись в центр, купили килограмм шоколадных конфет; Латков жевал их, как хлеб, а Батаренко в магазинной толкучке незаметно клал по конфетке молодым женщинам в кармашки платьев, в хозяйственные сумки и насвистывал все тот же песенный фольклор, улыбаясь и скрипя зубами.

На привокзальной площади было два киоска, и у обоих очереди — за газетами и за пивом. Батаренко сказал Латкову:

— Становись за пивом. А я куплю газетку.

Латков кивнул и пошел к дощатому сооружению — крашено в зелено-бурое, прилавок в мокрых пятнах, над прилавком кусок картона: «Место отстоя пива», — на бочках и вокруг — мужики с кружками. Латков шел, задевая встречных плечами.

Парень в нейлоновой рубашке, соломенной шляпе и черных очках обернулся.

— Нельзя ли осторожней?

Латков тоже обернулся, оглядел с головы до пят, сказал, как всхлипнул:

— ИШляпа!

— Не хулигань.

— Я? Хулиганю? — Латков быстро подошел к парню вплотную и, помедлив секунду, натянул ему шляпу на глаза. Тот рывком сдернул ее, оттолкнул Латкова.

— Ты что безобразничаешь?

— Выпрашиваешь, жлоб? — И, откинувшись, он ударил кулаком по очкам. Парень опрокинулся, закричал. Потом вскочил, бросился к Латкову, новый удар сшиб его.

— Еще выпросишь? — прохрипел Латков, облизывая губы, и краем глаза увидел: к нему от газетного киоска скользяще, плавно бежит Батаренко. — Повторить, жлоб?

Обливаясь кровью, парень приподнялся на колено, но подбегавший Батаренко пнул его, не дал встать. И Латков, задыхаясь от ярости и нехоти думая, до чего же счастливое лицо у Сашки, ударил парня ногой в живот.

Мельников то стоял, то прохаживался. И все время наблюдал за людьми. Они лепились к скамейкам. Спускались в подземный переход и подымались наружу. Сновали по перрону. Заходили в вокзал и выходили. Толклись у киосков, у билетных касс, в залах ожидания. Всюду люди, чемоданы, корзины.

Он наблюдал, успевая замечать то, что ему сейчас, быть может, не нужно было: кустики самшита и туи, окаймлявшие клумбы, пожухли, видать, болеют; агавы и канадские ели будто посыпаны серебристой пудрой; клумба отцветших тюльпанов рядом с клумбой распустившихся роз, на полураскрывшемся бутоне сидела жирная навозная муха.

На привокзальной площади потоптался у щита, заклеенного афишами. Эстрадные певцы, запрокинув напояженные головы с безукоризненным пробором, смотрели мимо Мельникова, вдаль, судя по многозначительности взоров, возможно, космическую. Зато конферансье Лившиц и Левенбук глядели в упор, разевая в неудержимом хохоте рты до предела. Если бы зрители так же закатывались от ваших остроумий, товарищи артисты! «Кинофильм «Любовь под вязами». Дети до 16 лет не допускаются». Цифра «1» стерта, еле заметна — тоже кто-то сострил. «Локомотив» (Минводы) — «Спартак» (Ессентуки). На первенство края. Играют взрослые и юношеские команды, наши

должны нашвырять гостям. Жаль, сегодня ему не побывать на стадионе.

У щита остановился мужчина в подтяжках — как лямки у парашютиста, — в задумчивости покосился на афиши, на Мельникова, Мельников — на него. Подтяжки просипели: «Адова жарница», — и удалились к стоянке такси.

В вестибюле вокзала с гулками церковными сводами и звонким кафельным полом Мельников встал у стенки. Через вестибюль непрерывно проходили, в центре — как водоворот: люди поворачивали к разным дверям. Слева, над окошечками, вывеска «Почта. Телеграф», на высоких наклонных столах разложены телеграфные бланки — а спрашивают, где можно отбить телеграмму. Справа, во всю стену, расписание поездов — а спрашивают, когда отправляется нальчикский или ростовский. Указатели-стрелки — «Справочная», «Ресторан», «Дежурный по вокзалу», «Комната матери и ребенка», «Медпункт», «Билетные кассы», «Мужской туалет», «Женский туалет» — а спрашивают... Но Мельников отвечал вежливо, ибо, по его данным, человек, становясь пассажиром, частично балдел, следовательно, надо делать скидку, не раздражаться.

Впрочем, к нему обращались везде, где он появлялся. На платформе подошла испуганная девочка. Что такое? Маму потеряла. Отвел девочку на второй этаж, в милицию, вокзального радиста попросил дать объявление. Спустя пяток минут в милидейскую комнату ворвалась взволнованная, растрепанная мама, прижала дочку к себе, и обе заплакали навзрыд. У подземного перехода — старушка в полинялой кофте: «Милый, как пройти на ту сторону?» — а сама с трудом удерживает чемодан-рундук. Взял у нее чемоданище, поднес, за локоток проводил тоннелем. Мужчина с воспаленными белками спросил, как проехать на мебельную фабрику. Это уж вовсе за рамками, и к тому же от него пахло алкоголем, но Мельников, хоть и насупился, растолковал насчет автобуса и маршрута. «Спасибо, товарищ старшина». «Я младший сержант». «А я думал, все милиционеры — старшины».

Солнце скатывалось за дома, дневные краски блекли. Духота, однако, не сникала. Мельников сводил лопатки — чтоб отклеилась майка, тряс воротом лавсановой рубашки — чтоб грудь освежить, вытирал носовым платком лоб. И занимался своим: наблюдал, отвечал на вопросы, выходил к поездам, одному гражданину втолковывал, что окурки следует бросать в урну, а не куда попало, другому — что нельзя шуметь в билетном зале, третьего — обросшего, обрюзгшего, с котомкой и без документов, явного бродягу — препроводил на второй этаж для выяснения личности. Бродяжек — на профессиональном языке —

Мельников не пропустит. Сперва (зеленый был, форменный цыплачок) жалел их: убогие, ни кола ни двора, в рваной одежке, полуголодные; но послужил, намотал на ус: убийцы, грабители, насильники плодятся именно среди них, неприкаянных и сирых. Есть и бродяжки иного сорта: пацаны, драпают из дому — на стройку, к морю, просто поколесить по стране. Не задержки сорванца — беда может приключиться. Этих, хотя они частенько подвороывают, Мельников жалеет и по сю пору.

Было еще светло, но зажглись фонари. Кое-где загорелись огни и в городе. На голубое темнеющее небо легли оранжевые полосы, то ширившиеся, то сужавшиеся. На пристанционных тополях каркали вороны, прорываясь в музыку. А музыка из ресторана и транзисторов там и тут: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля...» Иные транзисторы так гремели, что Мельников морщился. Но замечание сделать не мог — нарушения общественного порядка нет, — лишь ронял ненароком: «Эдак и оглохнуть недолго». Из владельцев транзисторов его услышал один, улыбнулся: «Самый смак, товарищ старшина!» И этот путает, цыпленок в клешах: все милиционеры, дескать, старшины. Конечно, из транзисторов не только про белых медведей пели, и другие песни пели, неплохие, да уж больно громко.

Из ресторана вывалилась компания на взводе: говор, смешочки, кто-то на ступеньках танцует лезгинку, кто-то восклицает: «Сашлык был — пальчики оближешь!» Мельников смотрит на них с добродушием и непреклонностью: нету нарушений — я вам не мешаю, будут — не взыщите, пресеку...

Сумерки, похожие на реденький туман, сизые и клочковатые, окутывали вокзал. Будто не сгущаясь, они продержатся несколько минут и сразу, как отчеркивая день от ночи, перейдут в плотную южную темень. Мельников приоткрыл запястье, сверяясь, поглядел на вокзальные часы. Без четверти восемь. Через полчаса прибудет «шестерка» — московский скорый, на Баку. Надо встретить как положено. Стоянка — тринадцать минут. И проводить как положено.

Полсмены, считай, отстоял. Встретит «шестерку» — пойдет перекусит. Пожует бутерброд, чайком запьет. Без отрыва от службы. Еще четыре часика — и домой, на отдых. Интересно, чем сейчас занимается Шура? Пусть не дожидает его, ложится. Ей полезно побольше спать — в положении. Иногда ждет его за полночь, иногда заваливается в восемь вечера. Пускай ложится, отдохаст. А интересно, во сколько заявится Анатолий Васильевич, небось, сорванец, болтается сейчас где-нибудь на улице, без присмотра. Ох, и возьмется он за Тольку! Спит Шура?

В небе — зеленый огонек и красный, и казалось, самолетный гул накатывался именно от этих огоньков; зеленое и крас-

ное почему-то напоминало светляков, но ведь ничего похожего. Стучали буферные тарелки подталкиваемых маневровым электровозом товарных вагонов. Шлепала на клумбы струя из шланга, который поливальщица, она же уборщица, прижимала к фартуку, словно взяла автомат наизготовку. Наверно, от струи чуточку свежей, а может, просто вечером пахнет. Вечером и пивной пеной, разогретым асфальтом, розами, акацией, мазутом, шашлычным дымом. Что и говорить, шашлык — вкуснота! Когда-нибудь они с Шурой навесят ресторацию. Когда будут гроши. Ну, а пока сходит в буфет, побалуется бутербродом с чаем.

Мельников сделал шаг и внезапно остановился: из-за угла здания, с привокзальной площади, донесло шум, неразборчивые крики. Мгновенно подобравшись, Мельников повернул назад и ходко пошел к двери. Тут же распоровший невнятные крики истерический женский визг: «Человека убивают!» — будто толкнул его в спину, и он побежал.

Он бежал молча, обгоняя идущих впереди, отстраняя замешкавшихся в дверях, в вестибюле; встречные сторонились, и все глядели ему вслед — с недоумением, тревогой или раздражением. Вдогонку голоса:

— Что случилось?

— А, ничего, пустяки.

— Спешит, как на пожар!

— У них бывает похлестче пожара!

— Чемодан увели?

Запыхавшись, Мельников выскочил из двери, увидел: двое бьют ногами третьего, лежащего на земле, народ на площади — у ларьков, на стоянке — как в оцепенении, лишь какая-то женщина мечется и кричит: «Человека убивают!» И точно, могут забить.

— Стой! Кому говорю, стой! — закричал Мельников и прыжками — три ступеньки зараз — рванулся вниз по некрутому каменному спуску.

Те двое обернулись, один из них ударил лежавшего каблуком в лицо, и оба побежали. Задержать, во что бы то ни стало задержать! Эта мысль остро, режуще ворохнулась в груди, просясь наружу, но Мельников выкрикнул другие слова, повторные:

— Стой! Кому говорю, стой!

Задышавшись, он прыгал через три ступеньки. Когда же кончится лестница? Они не останавливаются. Хотят удрать. Не выйдет!

Выбрасывая длинные, нескладные ноги, Мельников протопал мимо избитого, мельком отметил: из-под него растекается лу-

жа крови — повернул к скверику. Ясно, за кустами, за деревьями легче скрыться. Врешь! Он вдруг заметил: между сквериком и им, Мельниковым, никого, только те двое. И он перестал видеть все, кроме двух спин: узкой, немужской — клетчатая распашонка, и широкой, могучей в синей рубаше. И все звуки выключились, остались только топот убежавших, стук подковок на его ботинках да его запаленное дыхание.

Он нагонял их. Ближе и ближе пестрая распашонка, серые брюки — черноволосый; коричневые штаны, синяя тенниска, над ней грубый рыжий затылок. Первый бежит легко, скользя, второй топочет. Не оборачиваются.

Мельников был к ним настолько близко, что видел: в руках что-то зажато, ну да, заточенные трехгранные напильники, похуже финок. Затем невпопад подумал: «Пинали, а если б саданули этим? Не успели?» И тотчас вернулись все звуки: полицейский свисток, женский визг, мужской бас: «Держи их, держи!» И вместе с этим увиделось, как наперерез преступникам мчится по площади парень в спортивном костюме.

Мельников настиг тех, кого надо было обезвредить во что бы то ни стало, и теперь бежал между ними: справа — рыжий, слева — брюнет.

— Стой! — прохрипел Мельников, и они остановились неожиданно для него. Сопели, сжимали заточенные напильники.

Мельников встал меж ними, обдаваемый водочной вонью. Хрипло скомандовал:

— Вы задержаны, сдайте холодное оружие!

— Сдать? — Маленький, чернявый улыбнулся и скрипнул зубами. — А еще чего хо?..

Рыжеволосый — лицо бледное, красивое и знакомое — сказал:

— У тебя пушка, у нас свое. Не лезь!

— Ах ты, легавый, ты что, хочешь испробовать?

— Сдайте оружие, граждане, — повторил Мельников. — Вы задержаны.

Он протянул руку к рыжему. Тот отскочил.

— Я тебе дам задержаны!

И чернявый отскочил.

— Убьем его, Колян!

Он бросился к Мельникову с занесенным напильником. Мельников выставил локоть — прием самбо, — отбил его удар и инстинктивно повернулся к рыжему — и тот занес над ним напильник. И опять отбил руку чернявого, и опять отбил руку рыжего... Пьяные, озверевшие, они вопили что-то и нападали, и он, как будто позабыв про резиновую палку и пистолет в кобуре, принимал их удары на свои предплечья.

Напильник рыжего скользнул, и Мельников почувствовал, как острие вошло в тело и хлынула теплая кровь. Охнув, он отбил удар чернявого и, скривившись—не от физической боли—выхватил пистолет, повернулся, почти в упор выстрелил в рыжего. Тот выронил занесенный напильник и упал навзничь.

Пригнувшись, чернявый побежал к скверу, Мельников — за ним. У чугунной оградки парень в кедах и спортивном костюме дал чернявому подножку, и тот растянулся. Спортсмен навалился на него, выкручивая кисть с оружием, он вырывался, пена пузырилась на губах: «Пусти, падла... Всех перережу...» К ним подбегали люди, рядом дули, не переставая, в милицейский свисток — кто это? А, старшина Панькин, старший по смене, — выпученные глаза, надутые щеки. Мельников сказал:

— Товарищ старшина, преступники задержаны, я ранен.

Панькин перестал свистеть и бормотнул:

— Вижу. Кровища-то хлещет. Гляди, перепачкаешь народ.

— Второго я ранил?

— Кажись, ухлопал...

— Что?

— Вот тебе и что... Заварил ты кашу, Мельников! Не расхлебаясь! Пистолетик-то спрячь в кобуру.

Левая рука у Мельникова висела плетью, рукав напитался кровью, она стекала на брюки, на туфли. Народ не перепачкаешь, себя как есть перемажешь. На глаза наплывал туман — как пленкой прикрывало, — поташнивало и хотелось спать. Мельников судорожно зевнул и сказал:

— Товарищ старшина, носилки надо.

— Для этого? Которого ты...

— И тому, которого избивали.

— Вызову... А тебе, случаем, не требуется?

— Нет, дойду до медпункта.

Из возбужденно гомонящей толпы стали давать советы: сержант, истечешь кровью, перетяни ремнем выше раны, и вообще нужна «неотложка». Мельников подумал: «Как же я сам себе перетяну выше локтя?» — и услышал вокзальное радио:

— Граждане пассажиры, скорый поезд номер шесть, следующий по маршруту Москва — Баку, прибывает на первый путь...

Что? На первый путь? «Шестерка»? А он, постовой наружной службы Мельников, не сможет выйти к поезду. А того — убил? самого могли убить. Что с Толькой, заявился ли домой, спит ли Шура? Вот ведь в обиходе не зовет ее по имени, хотя она просит, а в мыслях всегда называет.

«Не к месту об этом вспомнил», — подумал Мельников, чувствуя дурноту у горла, слабость в коленках, липкую испарину на лбу. Судорожной зевотой ему свело рот, он пошатнулся.

— Повторяю: скорый поезд номер шесть, следующий по маршруту Москва — Баку, прибывает на первый путь...

Мельников покоем на раскладушке в коридоре: у изголовья — кадка с пальмой, слева — трубы батареи под подоконником, квадратное окно, справа — дверь в палату, столик дежурной сестры второго поста. У них свои посты, медицинские, у нас свои, милицеские. Если лежать на спине — а это удобнее всего, — видишь лампочку на потолке, стены уходящего вдаль, сужающегося коридора, холодильник, диван и каталку; где стоит каталка — перевязочная; операционная — в противоположном конце коридора, за двойными стеклянными дверями.

Зашивавший рану дежурный хирург — грузин, но без усиков — пришел ночью навестить. Мельников не спал.

— Как самочувствие, милиция?

— Спасибо, нормально, — сказал Мельников.

— Устроился, как на берегу моря, под пальмой. Как в моем родном Сухуми. Не был там?

— Не привелось.

— Город — тысяча и одна сказка!.. А в палату тебя переведем, как место освободится.

— Не беспокойтесь, я и здесь полежу.

За окном чернело небо, фонарь на столбе освещал верхушку тополя, цинковую крышу левого крыла больницы. Мельников смотрел в окно, на потолок, на дремавшую на диване сестрицу, на холодильник, на стены или накоротке закрывал глаза — виделось одно и то же: вскинутый над ним кулак с зажатым напильником, он хватается за пистолет. Кажется, давно это было и здесь он давно лежит. А то, что предшествовало дежурству, было совсем-совсем давнее, много лет назад.

Предполагал ли он, что произойдет на дежурстве? Никогда заранее не предугадает, но такого — чтоб убить человека — не мог и отдаленно представить. И вот убил. Как надеялся, что скажут: тяжело ранен. Сказали: убит. Безвыходное было положение. Или тебя, или ты. Спас себя. Чуть раньше спас туриста, которого избивали и собирались пырнуть напильниками, уже вытащили из чехольчиков. Эти заточенные напильники поставь на ладонь — своей тяжестью проколют. Ну, а если ударить с силой?

Была необходимая оборона в допустимых пределах. В допустимых? Старшина Панькин укорил мимоходом: почему резиновую палку не применял? Что ответишь? Разве в критической обстановке все взвесишь и сообразишь, чем действовать? Он сперва вообще забыл и про палку и про пистолет. Да и что

палка против двух с заостренными напильниками, все равно как кинжалы. Так-то так, но человека, какой бы он ни был, застрелил. Каша заварена, Панькин прав. Будет расхлебывание, точнее, следствие. Ну, готовься держать ответ...

Старшина Панькин обещал заехать с дежурства к Шуре — мол, не волнуйся, он в больнице, ранение несерьезное. Шура теперь-то наверняка не уснет. Ей же нельзя нервничать, на здоровье отразится. И маленькой, дочке, которую ждут, может повредить. Эх, черт, нескладно получилось, принесло этих отпеченных на вокзал, один из них даже знаком! Не так чтобы очень, но знаком. Через Ларису. Которого застрелил. Ему лет двадцать пять, считай, ровесник. Дьявол их напоил, зверюги, доигрались, переживай теперь.

Сестра подняла голову — без медицинской шапочки, с пушистыми рассыпавшимися волосами, соскочила с дивана, подошла к Мельникову.

— Что, миленький, не спишь? Ручка болит?

— Немного.

— Водички принести?

— Спасибо, есть в стакане, — сказал Мельников, конфузясь от чрезмерного внимания и женской ласковости.

— Если что, не вставай. Уточка под кроватью. — Она поправила простыню, резиновый пузырь со льдом, прикрывавший забинтованную руку и, внезапно ожесточаясь, сказала: — Стрелять их, бандюг проклятых, хулиганье! Ты, Вася, молодец, не растерялся!

— Я подремлю, Таня, — сказал Мельников и слепил веки.

Из раскрытой форточки — свежесть, может быть, от этого познабливало. Вероятней же всего, знобит потому, что температура. Боль в предплечье тупая, разламывающая, и голова болит. Сохнет во рту. Он пьет, и от воды, что ли, начинает поташнивать. Ладно, все позади. Хирург бодрил: «Лапу тебе сохраним, но повалиться у нас поваляешься. Отдохнешь!»

Бог с ним, с таким отдыхом. Скорей бы выбраться. Сколько пробудет в больнице? Хирург ответил: «Месяц — полтора. Добавим! Отдыхай, заслужил, герой!»

Вот тебе и герой. По ногам нужно было стрелять. Задним числом поумнел. Валяясь на кровати, можно и порассуждать на манер Панькина. А здесь с ним панькаются, аж неловко. Панькин, панькаются — совпадение. Что прет в голову? В ней гулко и туманно, на вокзале туман был в глазах, теперь в голове.

Сестра свернулась калачиком, обняла диванный валик, прикорнула, впологла стережет лампочки на щитке: загорится — вызывают в палату. Она дремлет, Мельников мается бессонни-

цей. Никак не наступит разрядка, нервы напряжены. Они не то что натянутая струна, они как доска, грубая и жесткая. Странно? Перед операцией ему вкатили укол пантопона, что ли, чтоб не боялся. Он и так не боялся, но от укола легче сделалось на душе, он даже шутил с доктором и сестрами, когда всаживали уколы новокаина, замораживали руку, — разболтался, как будто малость хлебнул. А вот сейчас опять сумрачно на сердце, видимо, пантопон перестал действовать. Уснуть бы!

Мельников осторожно повернулся, взял стакан со стула, отпил, поставил на место. Как полагается: сперва подумал о том-то, затем сделал то-то. На вокзале было так: мысль и поступок рядом, точнее, поступок опережал мысль. Он рванул за убегающими, а уж потом подумал: задержать, непременно задержать. Он отбил предплечьем опасный удар, а потом уж подумал о приеме самбо. Он выхватил пистолет и выстрелил, а потом уж подумал, что они его убьют, если не обезвредит хоть одного. Наверно, так было. Может, и не так. Одно помнит твердо: эти запаздывающие мысли были сродни коротким слепящим вспышкам молнии в ночи.

На этаже было тихо, но не безлюдно. С первого поста пришла тамошняя дежурная сестра. Таня достала ей из шкафа какие-то лекарства. Поддерживая локтями кальсоны, по линолеуму прошлепал стоптанными тапками старик с забинтованной шеей, разминает папиросу — в туалет, покурить. Таня просеменила в палату напротив поста. Выйдя оттуда, подошла к Мельникову.

— Не уснул, миленький? Люминальчику дать?

— Спасибо, не надо.

— У Савчука была, колю пенициллин, как и тебе.

— Что он?

— Плох. Разделали его... За что?

Мельников пожал правым плечом — левым опасался шевельнуть: боль пронзит, он ученый.

Таня сказала:

— Витя. Миленький, молоденький... Проклятое хулиганье, бандюги.

Савчук — это турист, на которого напали Латков и этот, как его... Батаренко. Ни за что, ни про что едва не угробили хлопца. Витя Савчук. Проездом в Теберду. Вот тебе и проехал. Угодил в больницу с Мельниковым. Однако Мельников отделался полечче, у Савчука, говорят, сломана челюсть, разбит затылок, подозревают и сотрясение мозга. Верно, верно: ну и бандитня, за что же так человека?

Привезли их в больницу с Мельниковым на пару. В прием-

ном покое возникли дебаты: свободно одно место, кого класть, по-видимому, милиционера? Мельников сказал:

— В палату кладите туриста. Я в коридорчике перебуюсь.

Перебьется. Тем более, на днях кого-то выпишывают, койка освободится. Так-то вот. Савчук и он лежат в больнице, Латков лежит в морге.

Батаренко Мельникову прежде не встречался, Латков — да, и отдельно и с Ларисой под ручку. Знаком, как же: коренастый, крепкий, сросшиеся брови, синие глаза, рыжеватые выходящие волосы, полные губы. Полные губы должны быть у добряка, у злого — тонкие, так уверяет теща. Ошибаетесь, мамаша. Привезла его с собой Лариса откуда-то без роду и племени с севера, из Норильска, ездила по вербовке, грóши зарабатывала. Насчет грóшей не ручаюсь, насчет супруга скажу: подобное сокровище нашлось бы и в Минводах. Ладно, ладно, о вкусах не спорят, не мое дело. А вот это мое, Лариса — вдова, я застрелил ее мужа. Как будто кто нарочно подстроил все это. Вчера вечером я не признал его сразу. Признав, не дрогнул, нажал на спусковой крючок. А что оставалось? Ждать, когда всадят в спину по рукоятку?

Ну, хватит об этом. И думать хватит и видеть. Сколько можно? Мельников посмотрел на часы — уцелели в передраге: ближе к рассвету.

Фонарь за стеклом раскачивался, мельтешили ветви тополей и каштанов, хлопал оторвавшийся лист железа на крыше. Сменилась погода, и он не заметил, когда. И холодит из форточек шибче. Дождь на подходе?

Мельников подтянул скомканное в ногах одеяло, и накрылся, и стал засыпать, и просыпаться, как тонуть в омуте и всплывать. Туда-сюда, туда-сюда, и успевал видеть во сне заточенный трехгранный напильник, поставленный острием на ладонь, протыкает ее собственной тяжестью, и кровь течет с ладони по натянутой гитарной струне либо по толстой, грубой доске. Толька, пострел — в новенькой и уже замазанной майке: «Не пойду в моряки, белую форму надо часто менять»; он же ластится к матери: «Не отдавай меня в школу, я маленький, сама говорила». Шура обнимает его: «Маленький, но подрастешь, отдам». На фасаде здания — в Кисловодске ли, в Пятигорске — зажигается неон: «Переходите...» — затем возникает пешеходная дорожка, затем слова: «...улицу только при зеленом...», затем огромный зеленый круг, затем слова: «...сигнале светофора», зажигается постепенно, гаснет враз; курортники в эссентукском парке толпятся возле источников; во ртах носики поильников, как мундштуки чубуков, он с Шурой глазеет на них; сосед Савелий Степанович Дудукин из-за жары остригся наголо и кручинится: «Теперь-ко

примут за мелкого хулигана, каковых стригут нулевкой и упекают на пятнадцать суток»; на каменистом склоне Машука лилово-розовые с темно-красными полосками цветы, он хочет нарвать Ларисе букет, срывает цветы, но Лариса говорит: «Не тронь, Василек, это ясенец, горюн-трава, от нее ожоги». И точно, через три часа на пальцах пятна, волдыри, а может, это рана — от удара острым или от пули?

Мельников застал в последний раз, барахтаясь, захлебываясь, выплыл из омута и больше не вздремнул. Водоворот ему не снился, но сейчас, после окончательного пробуждения, была непонятная уверенность: тонул в льдистом, затягивающем омуте, потому и колотит озноб. Одеядо до подбородка, форточка прикрыта — Таня позаботилась. А холодно-то как!

Окно еще мрачнело по-ночному, а по коридору брели больные в уборную, в умывальник, санитарка-армянка тихомолком затирала их следы на влажном линолеуме тряпкой из пижамного старья; Танечка то с градусниками в стакане, то с подносом, на котором порошки, таблетки и микстуры, бегала из палаты в палату. Мельников пододвинул часы: ого, шесть, почему же так темно во дворе? Приглядевшись, сообразил: угрюмые, низкие тучи застили рассвет, сулитесь ливень, вот ты и дождался, чего хотел.

Подошла Таня — волосы уже подобраны под шапочку, губы подкрашены.

— Доброе утро, миленький.

— Утро доброе,— сказал Мельников и, смущенно крикнув, спустил кальсоны.

— Чего стесняешься, Вася? — сказала сестра, смазывая ему ягодицу ваткой в спирту, вгоняя и выдергивая иглу шприца и снова смазывая ваткой.— Я на попки нагляделась... и вообще...

— И еще нагодишься,— сказал Мельников.

— До пенсии...— Таня не договорила, ахнула: за окном раскатистый грохот.

— Гром? — спросил Мельников.— Гроза?

Опять раскатисто бабахнуло. Мельников сказал:

— Это ж пушки стреляют по тучам. Чтoб град рассеять.

— А я перетрухнула: гром! Трусиха я, зачем только выучилась на медсестру, дуреха?

— Ну уж, трусиха,— сказал Мельников.— Не прибежняйся. Вон как иглу всаживаешь...

Он был словоохотлив с сестрой, чтобы заглушить мысль: всаживают иглу шприца, могли всадить заточенный трехгранный напильник — и не в ягодицу, будьте уверены. И еще глушил мысль: кто придет первым навестить его, кто-нибудь из сослуживцев или Шура с Толькой? Хотя к чему тащить Тольку

в данный момент, очухаюсь — тогда пусть приходит. Он вдруг подумал: «А что было б с Толькой, если б меня убили? Назывался бы сирота. И сиротой стала бы дочка, еще не родившись, стала бы сиротой».

Все-таки оконный проем синел и серел, смутно проступали пышные ветки тополя-здоровяка и сморщенные, скрюченные ветки голинки — засохшей, безлистой акации, ей никакой дождь не поможет.

Ветер надавливал на стекло, оно упругливо позванивало. Затем смягченно застучали капли — значит, дождь без града. Хорошо, потому что град — это беда, побьет сады, виноградники, огороды.

Дождь был проливной и отвесный. Струи хлестали по карнизу, по крыше, по деревьям, окно словно дымилось. В водосточной трубе хлюпало, урчало, клокотало, по подоконнику потекла просочившаяся меж створками вода. Нянечка подтирала ее — не тихомолком, а ругаясь по-армянски.

Но как же Шура доберется в ливень? Обождать бы, после работы можно. Не будет же лить весь день. Да и с завода отпрашиваться надо. Дом и завод близко, а от дома до больницы шагать да шагать. Пусть теща приедет, если это столь необходимо. Из отдела тоже пускай не торопятся, успеется.

Ливень то тишал, то барабанил с удвоенной частотой. От окна сквозило сыростью, на стекла налипали сорванные дождем и ветром тополиные листья. А на простенке на резной досщечке припилен лист бумаги: «Обязательства хирургического отделения в борьбе за звание коллектива коммунистического труда» — крупными буквами, сами же обязательства — мелкими. Мельников с раскладушки не мог разобрать, только цифры пунктов различал, пятнадцать пунктов набрали медики.

Девчоночка, вроде Тани — дневная сестра Люся, принесла завтрак, но аппетита не было, Мельников попил чайку. По коридору тащились больные — сперва к холодильнику за домашними харчами, затем к столовой — за казенными; некоторые мешкали, показывали на Мельникова пальцами, переговаривались: милиционер, поранили бандиты, парень не слабак, одного хлопнул из пистоля, так и надобно, сколько ж можно терпеть хулиганье, распоясались, проходу нету. Еще чего доброго подойдут с расспросами — не сейчас, так после завтрака. И Мельников прикрыл глаза, словно вздремнул.

Он лежал с закрытыми глазами — ступни, не помещаясь, торчали за раскладушкой, затылок упирался в кядку с пальмой, и в темноте звуки как бы обострились: и шум дождя, и позвякивание стекла, и стук костылей, и голоса в коридоре и палатах. Темнота была зыбкая, непрочная, и от нее почему-то

разбаливалась, уставала голова, уставала шея, даже руки-ноги уставали. Потерпим. Разговоры о вчерашнем ни к чему. Успеем поговорить, да и не с каждым же, желающих наберется.

Уверенные шаги нескольких человек оборвались у раскладушки, властный бас произнес: «Это и есть наш храбрец? Разбудите!» Мельникова тронули за плечо: «Больной! Обход!» Храбрец — вот это выдают, не слабак — на это согласен.

К счастью, врачи не докучали расспросами о происшествии, они интересовались самочувствием, температурой Мельникова, слушали грузина, который штопал его ночью; Люся, высунув в усердии кончик языка, записывала в ученическую тетрадь назначения: анализы, лекарства, стол, режим и прочее, что краем уха схватывал Мельников. Он поглядывал на врачей и сестер и повторял: «Чувствую себя прилично». Заведующий отделением, с властным басом и окладистой бородой, как у представляемых в кино купцов, похлопал Мельникова по здоровой ладошке и двинулся в палату, свита — за ним.

И едва они гуськом вошли в палату, как в конце коридора Мельников услышал одинокие шаги, заставившие его приподняться на локте. Он не видел, кто идет оттуда, но сразу же понял: Шура.

Он узнал ее, когда она миновала полкоридора. И она узнала его, побежала, почти не двигая руками. Он замахал рукой: не беги, что ты, но она добежала до раскладушки: белый халат — с бурами от застиранной крови пятнами, белое лицо — с бурыми предродовыми пятнами, грудь и выпуклый живот вздымались. Мельников сказал:

— Несешься как угорелая.

Она перевела дух, жалко и виновато улыбнулась.

— Здравствуй, Вася.

— Здравствуй, — сказал Мельников. — Садись. Убери со стула на подоконник и садись.

Она убирала и оглядывалась на него. Присела на краешек, не спуская глаз.

— Ну как ты, Васенька?

— Ничего.

— Как же ты не уберется... — Ее губы задрожали.

— Уберется. Живой перед тобою. — Он пожал плечами и сморщился от боли: забыл, что пожимать можно одним плечом.

— Тебе больно? Больно? Но тебя вылечат, я поговорила с главврачом, он и разрешил свидание.

— Вымокла, небось, как курица, — сказал Мельников. — Пролежала б после работы.

— Я не могла дожидаться утра... Панькин известил... Как бы

дождалась вечера, бог с тобой, Вася.— И опять эта кроткая, виноватая улыбка.

И Мельников, проникаясь внезапной ответной жалостью и чувствуя себя в чем-то виноватым, сказал:

— Упрекаешь, что не поберегся, а сама... А ежели простудишься? — Он оглядел ее живот: — Вас же двое, Шура...

И тут она заплакала в голос, уткнувшись в подушку. Он сознавал, отчего она расплакалась, погладил ей щеку.

— Ах ты, Шурик, Шурик.

Она нашла губами его ладонь и поцеловала — в ладонь будто налили теплой воды. Мельников сказал:

— Да ладно тебе. И не реви, народ сбежится.

Она утерлась платочком, стала доставать из сумки бутылку кефира, кулек с черешнями, еще что-то. Мельников спросил:

— Толька как?

— Расхныкался, что не взяла к тебе.

— Толька расхныкался? Это что-то новое... А что мамаша?

Шура всплеснула руками — рукава великоватого халата трепыхнулись, как крылья.

— Плохо с ней было. Как Панькин-то пришел... Уложила я ее, Панькин «Скорую помощь» вызвал.

— Ну, а что в данный момент... с мамой? Полегчало?

— Полегчало. Но с собой в больницу я ее не взяла.

— Поклон ей передай,— сказал Мельников.— И Тольку целуй. Скажи им: со мной все в порядке...

Распрощавшись с женой, Мельников сомкнул веки — спит не спит, не тревожьте понапрасну — и мысленно провожал ее до выхода на лестничную площадку, до подъезда, до автобусной остановки, до заводской проходной, оберегал от дождя и луж, видел воочию ее походку вразвалочку, льняные кудельки, льняные брови, которые она никогда не подкрашивала, поблекшую кожу в подглазьях и морщинки у рта и хотел, чтобы не пригасло то, что вновь затеплилось в нем, в Мельникове. Почаще бы называть ее по имени — вслух!

Ну что тебе это стоит? А ведь она просила с самого начала. И просит теперь совсем уж изредка. Ту, Ларису, небось, называл Ларой, и Ларочкой, и Ларунчиком, голубком ворковал. Было, не отпираюсь. Когда было? Да лет семь назад, до армии. Втюрился по уши! Суток не мог прожить без нее...

По будням они с Ларисой мерили минводские скверы, пропадали на танцульках, в кино. По воскресеньям уезжали на электричке: и публика в курортных городах интересней и окрестности живописней. В этих самых окрестностях, на природе, и произошло у них то, что не забудется до гроба.

То воскресенье! Ночью на вершине Машука выпал снег, в июне снег, четвертого июня. Но покамест они с Ларисой добрались до наводненного цыганками-попрошайками пятигорского вокзала, снежные островки стояли под горячевшим солнцем. Припекало, и носы их покраснели, как у пьяниц, и Лариса наклеила себе под дужку защитных очков листик сирени. Так, с листиком на Ларисином носу они и кочевали то одни, то подстраиваясь к экскурсиям.

В Пятигорске потоптались в Домике-музее Лермонтова, где великий русский поэт на вечеринке повздорил с приятелем Мартыновым, на автобусе подъехали к обелиску на месте гибели великого русского поэта у подошвы Машука; в Железноводске сбегали по каскадной лестнице, катались на лодке по озеру, обошли по кольцу гору Железную, начав путь от водолечебницы, куда в день дуэли прискакал верхом поручик Лермонтов, принял минеральную ванну и откуда, поспешая к сроку, ускорил стреляться с майором Мартыновым; в эссентукском парке дивились экзотическим деревьям и папоротнику «страусовое перо», а обедая в ресторане «Кавказ», дивились худосочным желудочникам и печеночникам, люто расправлявшимся с шашлыком и жареными цыплятами. Лариса подмаргивала: «Это у курортников зигзаг»; в кисловодском парке взбалмошная, но прозрачная Ольховка срывалась с каменных уступов игрушечными водопадами, а они — против течения речонки — взбирались выше и выше, к Красным камням и Серым, к Храму воздуха, далеко в синей дымке Синие горы, еще дальше двуглавый Эльбрус с ледниками, на теренкурах пыхтели тучные, взопревшие субъекты, Лариса посмеивалась: «Жирок сбрасывают, а что бы не чревоугодничать?»

С утра она была взвинченная, насмешливая и словно не стесняющаяся его. Они стояли на верхотуре, закатное солнце плавило и не могло расплавить ледники Эльбруса. За скалой, в шиповнике, бренчали на мандолине, в кронах среди завязи диких каштанов и грецких орехов орали по гнездам грачата, которых кормили родители, молодые скворцы сновали в молодой траве — уголья в зелени.

«Притомилась, Ларуся? — сказал он. — С ума сойти, целый день мотаемся». Она сказала: «Прилягу на травку» — и пошла к дубу со стволом, как конус. Он за ней, она остановилась и, неожиданно притянув его за шею, стала падать, и они упали оба, и листок сирени слетел с ее носа, и очки слетели, и он увидел ее открытые, безбоязненные глаза. До этого Мельников еле держался на ногах от усталости, а тут нетерпеливая, неистребимая сила возникла в нем, и он уже не помнил о близкой мандолине, о близких теренкурах.

При звездах они сели в Кисловодске на электричку, и до Минвод Лариса не снимала головы с его плеча — как положила, так и ехали — и с вызовом поглядывала на попутчиков. А он, счастливый, переполненный тем же неукротимым, неиссякающим, думал: «Вот и свершилось! Там, у дуба, я боялся наткнуться на ее робкий, незащищенный взгляд... Свершилось!»

Так, так, так, Василий Мельников, Шура Шурой, а перескочил на Ларису, здорово тебя завернуло. Что — завернуло? Сложилось так: любил он эту деваху крепко, чего уж там. Укатил в армию, она укатила в Норильск, привезла муженька. О вкусах не спорят, видать, по нраву был ей. А что он, Мельников? Нескладный, руки-ноги болтаются, как на шарнирах, скуластый, чуть косит (мальчишкой дразнили: «Один глаз на Кавказ, другой — на Россию»), разве что рост гвардейский, в строю — на правом фланге.

Про Ларисино замужество узнал случайно. В Минводах о норильском фортеле не ведали, кроме закадычной подружки, хранившей новость в величайшей тайне. Но, повстречав на улице приехавшего в кратковременный отпуск Мельникова, стойкая подружка не устояла, выложила, истребовав клятву сохранить все в секрете. Клятву он дал, в награду за то ему позволили прочесть письмецо. Подружке от Ларисы. Прочел. Белый свет закружился в очах, и в то же время все встало на свои места. Подобьем итоги: его не любила, тешилась, соединилась законным браком с Латковым, ах, ах, как мужчина в ее вкусе.

На побывку Мельникова отправили потому, что в погранотряд пришла заверенная поликлиникой телеграмма: мать опасно больна. В те годы отпуска разрешали неохотно, и начальник отряда вертел телеграмму и так и эдак. Но отпустил: во-первых, мать при смерти, во-вторых, ефрейтор Мельников — мастер пограничной службы, отличник боевой и политической подготовки, нельзя не уважить.

У матери отказывало сердце, и он бегал в аптеку за кислородными подушками и горбился у ее постели, щупая пульс. Он был сумрачен, подавлен, мать просветлена: «Можно помирать: повидалася с тобой...» — и прошептала: «Не привел господь нянчить внуков, так хоть обженись, покудова не померла. На Сашке Зубенковой обженись!» «Жениться?» — спросил он недоуменно. Мать истово зашептала: «Спервоначально обзнакомисся, славная девка, золото, не вертушка... Бери — не промахнешся...» Оказывается, мать давно это вынашивала — оженить его на Шуре Зубенко. Мельников уже прочитал письмишко Ларисы и ответил: «Коли вы желаете, мама, я познакомлюсь с ней...»

Они двинулись навстречу друг другу, и у Шуры под его

взглядом ноги стали заплетаться. И после этого знакомства, когда он взглядывал на нее, она спотыкалась. Освоилась накануне его отъезда в часть.

И получилось: то дневалил у материной кровати, то прогуливался с Шурой по Минводам — и так повелось у минводских парочек — ездил по курортным городкам, по тем же достопримечательностям, что навещал и с Ларисой. Все было вторичное, отраженное, даже желание. За десяток дней сошелся с Шурой, а маму не похоронил. Отпуск истек, она была еще, к счастью, жива, и он на что-то надеялся, прощаясь, а после выяснилось: когда трясся в транссибирском поезде где-то перед Читой, мать скончалась. В штабе отряда вторично показали телеграмму, однако вторично в отпуск не отправили. Служить надо, да и не поспевал он к похоронам никак: от отряда до Читы сутки машиной, от Читы до Москвы пять суток поездом, от Москвы до Минвод сутки с лишним. Лететь бы, так откуда у солдата наберутся деньги на самолет? В общем, маму предали земле без него. В общем, получилось: мама предсмертно мучилась, и был зачат Толька, его Толька, чертенок, пострел. Без него родился. И девочка вот могла бы родиться без него — в ином, непоправимом смысле. В том смысле, что Василия Мельникова вообще уже не было б на белом свете.

Да... А Ларисина товарка, что подсунула ему писульку, во всеуслышание возмущалась: «Оторвал Васька Мельников! Вот и верь мужикам!» Ну и ну, вроде бы он обманул, а не его, ведь Лариса писала ему в Забайкалье: «Любимый, дорогой Василек!», — а была уже с Латковым, зачем писать-то было? Лгать зачем? Бессмысленная, нелепая ложь. Впрочем, вскоре переписка прекратилась — Лариса как обрезала. Все это в прошлом, в настоящем он обезмужил ее...

Дни шли однообразные до одури.

Просыпался Мельников от выстукивания клювом по стеклу. Койка — впритык к окну, и Мельников выгребал из тумбочки заготовленные загодя крошки, сыпал на карниз, и сизарь склевывал их с достоинством, без жадности. В зиму — по палатным преданиям — голубь, отоцавший, ослабевший с голодухи, приломился на карнизе, и больные, приоткрыв раму, накрошили ему хлеба, он стал прилетать по утрам, как по расписанию, подкормили — выходили, но голубь и поныне заявлялся за дополнительным, что ли, питанием, и обитатели палаты, сменяясь, как бы передавали заботу о птице.

Склевав булочные крохи, голубь наклонял головку, словно поблагодарив за трапезу, чистил перышки, лоснящиеся, ухо-

женные, поджав красные лапки, падал с карниза, и Мельников каждый раз не то чтобы пугался, но стерег момент, когда это кратковременное падение перейдет в полет. Не вставая с постели, Мельников следил, как сизарек плавно летел над сквозной железной оградой, над беседкой, над мусорными ящиками за оградой, куда вываливали куски снятого гипса, окровавленные бинты и тампоны, и скрывался за кирпичной трубой какого-то приземистого здания.

Умылся — в столовку, туда же — в обед и ужин, до и после нормальной еды наедаешься всяких порошков, пилюль, таблеток. Кончился обход — дневная сестра колет шприцами: глюкоза, витамин; откололи — караул вызов в перевязочную, тамошняя сестра снимает бинты: «Молодой, красивый, на поврочку?» Лечащий врач ковыряется в ране, ненароком замычишь — приветливо вопрошает: «Больно?» «Да». «У нас ответственность: не больно, а приятно... Итак, больно?» «М-м... приятно...» Сестра забинтовывает: «Молодой, красивый, да ты уже как огурчик!» Отобедал — тихий час. Отвалялся — дуй во двор, на лавочку, в беседку, к доминошникам либо читай книжку. Отужил — к телевизору в холле, наслаждайся смотренными-пересмотренными фильмами, которыми потчует Пятигорское телебачение, как выражается Игнат Игнатьич. На сон грядущий, разумеется, анекдоты, Игнат Игнатьич в этой отрасли мастак. Казалось бы, отдыхай, отсыпайся, развлекайся, так нет же, маешься, мечтаешь: до дому, до хаты!

В палате заводилой был Игнат Игнатьич — шестьдесят с гаком, вышел на пенсию, молодая жена, «Москвич», предвкушал: теперь-то я заживу. Заядлый охотник, рыболов и физкультурник, он отработывал по три зарядки на дню, не считая занятий лечебной физкультурой, бегал кроссы по больничному садику, в дожди бегал с первого этажа на пятый и обратно, спортивную форму поддерживал. А был у него запущенный рак прямой кишки, про это знали все, исключая самого обреченного И Мельникову было иногда жутковато слушать разудалые и скоромные анекдоты от человека, которому жить месяца три-четыре.

Мельников захаживал на первый пост, к Савчуку. Турист — на высокой хирургической кровати, забинтованный по глаза, и они слезились, когда Мельников справлялся о самочувствии, и сухо блестели, когда он ни о чем не спрашивал, немо кричали: за что со мной так, люди или же звери? С тягостным чувством покидал его Мельников. Как будто он, Василий Мельников, чего-то недоделал для Савчука. Как будто мог ответить от Савчука то, что было, а не отвел. Чепуха это, нервишки, смяк, тоже живой человек.

Помимо Игната Игнатьича, заводным в палате был Жорка, язвенник и двойник генерала де Голля. Внешностью Жорка на французского президента походил феноменально — формами огромного носа, лба, подбородка, ушей, прической, ростом — верста; вся разница — младше на пятьдесят пять лет. И манеры у них разнились: президент Шарль де Голль невозмутим, важен (в кинохронике показывали), мамин-папин сын Жорка суетлив, балаболка. Неизвестно, есть ли у де Голля магнитофон, а у Жорки есть. Малый пытался включать его в палате, Мельников турнул:

— Валяй на природу. У каждой кровати наушники, кто желает, послушает музыку по радио.

— Радио передает пещерные скрипки! Какие пещерные? Дopotопные! А мне подавай джаз, эстраду! Босоцкого подавай!

— А кто это? — спросил Мельников.

Не прожевав, Жорка сглотнул кусок бублика и завопил:

— Он не слышит про Босоцкого! Это артист в одном московском драмтеатре, а сочиняет песенки, сам исполняет! Молодежь повально увлекается! Мода! Босоцкий!

Из-за одной песни они крепко поспорили. Жорка запустил в беседке магнитофон и, жуя печенье и закатив белки, в упоении закачался. Рубя слова, хриплый, придуренный баритон поспешал за гитарным бренчанием. Он пел, как на границе с Турцией или с Пакистаном справа наши пограничники, а на левой стороне «ихние посты», и как советский капитан собрался нарвать на нейтральной полосе цветов для своей невесты, и турецкий капитан возжелал нарвать букет своей невесте, и как группы пограничников столкнулись там ночью, перестрелялись, турок повалился, охнув по-турецки, рухнул и наш капитан, крикнув что-то по-русски; завершалась песня так: спит, дескать, капитан, и ему снится, что открыли границу, а ему, бедняге, не нужны были чужие заграницы, он всего-навсего хотел пройти по ничейной земле, почему ж это возбраняется, ведь земля-то ничья; куплеты сопровождалась припевом: «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты», — струны чуть не лопались.

— Ну как? — спросил Жорка.

— Хрипит здорово, — сказал Мельников.

— Это-то и ценно — не петь, а хрипеть!

— Мотива я не уловил...

— Мотив — пещера, пережиток! Ритм, ритм — вот что! Рвет струны-то как!

— Рвет. Я все это разумею... Смысла не разумею. Посуди: во-первых, Советский Союз не граничит с Пакистаном. С Турцией — да, с Пакистаном — нет.

— Как то есть нет? — Жорка вскочил. — У Босоцкого сочинено: должны граничить!

— То-то, что сочинено. Сядь. Во-вторых, о сухопутной границе нельзя сказать: наши — на правой стороне, а те — на левой, или наоборот. Уразумей: они — перед нами, мы — перед ними.

— Босоцкий же поет!

— Не поет, а хрипит. И далее. На границе никакой ничьей, нейтральной полосы не имеется. Государственная граница пролегает от копца к копцу, это погранзнаки... Граница — это мысленная черта, уразумел? На границе как? Ступишь на пяток сантиметров — и ты уже на чужой территории... Возьмем реку: обычно линия границы проходит по середине фарватера, так что и ничейной, нейтральной речной воды не имеется...

Игнат Игнатьич расхохотался:

— Чистый анекдот! Певун-то, бард двадцатого столетия, спутал государственную границу с передним краем обороны! На войне в обороне имелась «нейтралка», ничейная земля между нашими и немецкими позициями. Бывало, полоса метров семьдесят шириной, а бывало, и четырехста.

Жорка садился и вскакивал, растерянно шлепал губами. Игнат Игнатьич продолжал похохатывать.

— И потом, как это можно «охнуть по-турецки»? Охнуть по-русски? По-французски? Ох и есть ох!

Жорка обрел речь, выпалил:

— А почему же все увлекаются Босоцким?

— Да кто все? Я слыхом не слыхивал про этого вундеркинда.

— Насмехаетесь, папаша? А это шик! Гениально!

Игнат Игнатьич задумался.

— Братцы, не пародия ли это, неудачная шуточка?

— Ни фиги себе шуточка! Надо раскидывать мозгой, выбирая предмет для пародирования. И хоть столечко, с мизинец, разбираться в данном предмете. Брехня и глупость!

— Музыкальный ширпотреб, — примирительно сказал Игнат Игнатьич.

Унося магнитофон, разобидевшийся Жорка спросил Мельникова:

— А ты откуда про границу-то знаешь?

— Служил на заставе. Три года отдал

Но Жорка обиделся бесповоротно, гнул свое:

— Что с того, что служил. Это — искусство, фантазия... Молодежь-то принимает!

— А я что, не молодежь? — спросил Мельников и одернул се-

бя: соседу, Савелию Степановичу Дудукину, говорил, что не молодой я, двадцать шесть законных.

Да ну их, юного язвенника Жорку и актера, которому надо бы играть на сцене, в спектаклях, а он хрипит с магнитофонной ленты фигурные песенки собственного изготовления. Уж предпочтительнее слышать, как белые медведи трутся спинами о земную ось, чтоб земля вертелась быстрее,— и мотив улавливаешь и женский голосок приятен. Только бы в меру слышать про белых медведей, без перебора.

А на границе он служил. Действительную. Три года. С гаком.

Застава была на сопке, но сопки повыше обступали с запада, севера и юга, и весной ее обмывало тальными водами, осенью обсыпало желтым — березовой листвою, лиственничной хвоей, в распадах же бурлили паводки и наметались сугробы прелых листьев и хвоинок; на востоке тайга перед заставой раздавалась: Аргунь летом — мелеющая на перекатах, пенистая на стремнине, с омутными воронками, зимой — торосистым льдом, с курящимися заберегами, со скудным и сухим забайкальским снегом, перегоняемым от стамухи к стамухе — торосам, ставшим на отмели. И на нашей и на другой стороне побережья пологие, по сотне шагов тала, черемухи и сразу — череда сопкок: базальтовые глыбы, мох, багульник, сосновые леса и березовые, лиственничники, ельники, кедррачи, бурелом — не проде-решься, пограничные тропы выручали. Полазал он по сопочкам да распадочкам, поистоптал казенную кирзу и валенки, поистер казенную шинелишку и полушубок. Три года — дозоры и секрет-ы, днем ли, ночью: бураны, ливни, метели, сорокаградусная стужа и сорокаградусная жара, гнус, волчьи стаи, медведь-шатун и рысь — тоже не сахар, хотя промышляют в одиночку. Мельников не сталкивался с лазутчиками, не судьба. Стрелял по мишеням, на стрельбище. Из автомата, ручного пулемета, карабина. Пули не посылал за молоком. Хоть и косит на левый глаз, это не мешало: целясь, его зажмуриваешь. Да, по столет-веку за три годика не выстрелил... И еще о пограничной жизни: в отряде о маминой смерти ему сообщили, когда был май на исходе; по голубой Аргуни — вниз, где, неподалеку сливаясь с Шилкой, они превращались в Амур,— несло грязно-серые льдины, коряги, на сопках зазеленела хвоя лиственниц, залило-вел зацветший багул. Мельников стоял на взлобке, над глухой расселиной, сдернув фуражку, будто над могилой. Больше он не увидит мамы. Не получит ее весточек в конвертах, надпи-санных печатными буквами. Не получит посылок. Она присы-лала аккуратные фанерные ящички со всякой всячиной. По за-ставской традиции, он отбирал что-нибудь себе — по мелочи, а ящичек с остальным добром подкидывал к потолку: «Само-

лет!» — и братва ловила, хватала, кому что доставалось. Если Атянину ничего не доставалось, Мельников делился тем, что приберег для себя.

И Атянин поступал так же. Они надежно дружили, по-мужски. Мельников вызволил провалившегося в полынью Атянина, тот подстрелил рысь, изготовившуюся для прыжка со скалы на спину Мельникову... А над мамой — свежий холм, в изголовье крест, который Мельникову доведется еще не единожды подправлять. А над Гришей Атяниным попозже вырастет холм с обелиском, который Мельникову не подправить: похоронили в Красноярске, когда они разъехались с заставы, — Мельникову написали об этом демобилизованные ребята со стройки ГЭС. Не было брата, был Гриша Атянин, оставил по себе зарубку на сердце...

Эх, как Василий Мельников спал на заставе-то: прикоснулся щекой к подушке — готов, из пушки не разбудишь. Да что застава — совсем недавно спалось дай боже — без снов, и днем прихватывал не в ущерб. Шура и то сердилась: «Побудь со мной, соня...» А в больнице — поломалось: сновидения, пробуждаешься, а то и бессонница, извертишься.

И тогда подкатывает злость, тоска. Вот именно, злая тоска. Идут в голову мысли, от коих сна не будет и в помине. Хватай книгу — и к сестре на пост, за столик, она не прогонит, читай при настольной лампе про путешествия на другие планеты через сотню лет. И что удивительно, звездолеты автор описывает сверхъестественные — никак не разберешься в технике, имена у космонавтов не нынешние, какие-то гибридные, а характеры, повадки, как сейчас. Неужто земляне не изменятся к лучшему за столько лет? Понятно, человек меняется медленнее техники, очень медленно, но все же целый век! Или автор загнул? Или милиции еще долго-долго существовать? Так или иначе на твой мельниковский срок работенки ей хватит.

По ночам рука ныла, Мельников снимал ее с перевязи, сгибая и разгибая, как велел методист лечебной физкультуры. В растворенном окне круглилась луна, по задворьям на нее лаяли собаки, по крышам неслышно шастали и в июне по-мартовски голосили коты-котовичи — затыкай уши ватой.

В одну из бессонных ночей Мельников дочитал роман, потребил себя за чуб и, враз позабыв о межпланетных путешествиях, подумал, что та его жизнь, до схватки с хулиганами, ушла и не вернется, ЧП на вокзале отчеркнуло ее от новой, а какая она будет — неизвестно, но от прежней будет отличаться чем-то, и он сам станет в чем-то иным. И затем мысль: «Я надеялся, что выстрел в Латкова — высшая точка событий, все пойдет на спад, однако это, видимо, не так, высшая точка

растягивается в линию, вот на сколько растянется, тоже неизвестно. Внешние события — одно, то, что происходит в душе,— другое...

В приемные, или по-шутейному родительские, дни к Мельникову приходили Шура, Толька и теща — троичей. Отмытый, причесанный, Толька не лез с нежностями, сидел смиренненько, но глазенками шнырял всюду. Шура ревниво ерзала, когда пропархивали однообразно-стройные Люси или Тани (сестры хирургического отделения, как на подбор, были Люси и Тани), рассказывала о домашних и заводских новостях, теща — о городских. Она неизменно говорила: «Усе одобряют тебя, Васыль, ты же ж по закону», — он отвечал: «Не будем про это, мама», — она неизменно говорила взглядом: «Васыль, на кой же ж ляд сдалась тебе та милиция, брось заради Христа», — он отвечал взглядом: «Мама, милицию я не брошу. Это вы бросьте подымать данный вопрос».

В неродительские дни Мельникова навещали следователь, прокурор и начальник наружной службы. Он объяснял им, как было, объяснял устно и письменно, аж взмок, еще был слаб. Накоротке заскакивали ребята из дорожного отдела, совали передачи в кульках, кивали: «Бывай! Поправляйся!»

Дважды приезжал Панькин — в начале лечения и в конце, подолгу, обстоятельно беседовал. В первый визит сокрушался:

— Угораздило ж стрелить, лупил бы их, паскуд, палкой, удар девяносто кило силой. А ты бац...

— Следствие установило: я отбивал их удары предплечьями, палка-то и слетела в передрыге у меня наземь.

— Слетела! Растяпа ты. Не надо было ронять.

— «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны...»

— Не умничай, не темни. Кто будет отвечать, а?

— Я. А может, и никто, — сказал Мельников.

Панькин пригладил седеющий ежик, покрутил шеей в крупных морщинах, словно ворот тесен, сморщил пористый нос:

— То растяпа, то шустренок ты! А я кой-чего кумекаю... Ты в органах милиции сколь? Пару годков? А мне пару годков до пенсии! У тебя третья категория? А у меня первая! Чья квалификация выше, чей опыт?

— Ваши, старшина, — сказал Мельников.

— Кумекай: ты стрелил, ты, натурально, и отвечаешь. Но испросят же: кто был старший по смене? Панькин. И потянут Панькина к суду-следствию.

— Вас-то за что?

— Найдут, ежели начальство будет не в духе... Состряпал ты заваруху, состряпал...

Мельников подумал: «Старшина, ты опытен, честен, но прости, остарел, выработался». Сказал:

— Заварушку заварили уголовники, я расхлебывал. И повольте спросить: до коих пор миндальничать?

— Да уж ты не миндальничал,— пробормотал Панькин.— А я приучен уговором воздействовать, мирно... Нам оружие давненько ли позволили поширше применять? А палки получены? Во все недавненько.

— Указ-то для чего принят? Для усиления борьбы!

— И указ недавненько приняли... Шустрик, наломал дров...

Во второй визит Панькин ликовал:

— Причитается с тебя! Шутка ли, Ростов одобрил, Москва одобрила! Медаль «За отвагу» пророчат!

— А парня, который пособлял задерживать Батаренко, отметили? Спортсмена?

— Насчет Батаренко: предстоит суд, зарешетят. Насчет парня-спортсмена не в курсе. А меня отметили: благодарность от начальника дорожного отдела!

— Поздравляю,— сказал Мельников.

— Ты не сердчай.— Старый Панькин поежился, скраснел и стал похож на проштрафившегося пацана.— Кумекаю: ты прав. Обстановка, стало быть, переменялась... Не сердчай, пойми, приучен я за многие лета к уговорам, без обострения, ласковонько поговоришь — глядь, и зашкандыбает домой прощелыга, проспится. Обостришь, он тебя и пырнет. А мне до пенсии пару годиков, не резон переть на рожон-то...

Мельников слушал старшину и думал: очерстветь в милиции можно запросто, фактики и субъектики попадаются — жить становится тошно, но если ожесточился — уматывай из органов по добру-поздорову, иначе стрясется, как с Лепешкиным: избил задержанного воришку, самоуправство, уволили — и под суд. И размазней быть нельзя, киселем и студнем, хотя по-житейски старшину Панькина понимаешь: вытянуть бы на пенсию. В милиции надо быть мягким к людям и беспощадным к негодяям, а милиция соприкасается и с теми и с другими, помогать добру и пресекать зло — вот как пафосно стал изъясняться младший сержант Мельников. Но, право же, наша работенка не прямолинейна и не примитивна, как представляется некоторым.

В день выписки за Мельниковым приехала не Шура, а шофер милицейской «Волги». Накануне в больницу лично позвонил начальник отдела: товарищ Мельников, поприсутствуешь на

оперативном совещании, получишь правительственную награду, и отвезем домой под бочок к жене.

— Понял, товарищ подполковник! — сказал Мельников.

— Ну и великолепно, что понял, — сказала трубка и загудела частыми гудками.

Шофер привез Мельникову новехонькую форменную рубашку взамен попорченной, у Шуры прихватил выстиранные и наглаженные брюки и китель. Мельников спросил:

— Китель-то зачем?

— Для солидности. Медаль куда чеплять? На лацкан!

«Волга» катила, обгоняя автобусы, самосвалы, дождевальные машины с водяным усом, поливавшим газоны, левый ус, казалось, был сбрит. Никли листья акаций, тополей, катальп, кой-где пожухлые. Июль. Разгар пекла. Перед «Волгой» мостовую перебегали собаки, сплошь прихрамывающие. Шофер, зажав папироску зубами, сказал:

— Примета: псина перебегнет дорожку — к счастью.

— А что хромая — ничего?

— Сойдет!

— Наберем счастья! Три мешка на двоих. Поделим?

— Поделим, — сказал шофер и передвинул папиросу из одного угла рта в другой.

Все по календарю: за июнем — июль, небо слиняло. Отцвели сирень и жасмин. Акации отцвели. А как пахли тогда гроздь белой акации! Это было в той, прошлой жизни. В нынешней — пахнет цветущими розами, и это не волнуется. А вообще, что ни говори, жить славно. Он снова здоров и силен, и что ни толкуй, молод — разве ж это не славно?

Он как будто заново в родном городе. Присматривается к улицам, домам, вывескам, прохожим, на перекрестках, где легковушка сторожится красного сигнала светофора, читает объявления на заборах, ухитрился даже такое прочесть до конца: «Минераловодское городское профессионально-техническое училище № 16 объявляет прием учащихся на 1967/68 год с образованием не ниже 8 классов на обучение по специальностям: маляры, каменщики-монтажники железобетонных конструкций, плотники-опалубщики, слесари-сантехники, паркетчики, штукатуры. Срок обучения — 1—2 года. Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении, имеется бесплатное общежитие. Обращаться: г. Минеральные Воды, проспект XXII партсъезда, 94. Дирекция». И бог весть с чего возрадовался.

«Волга» вывернула к привокзальной площади, обогнула ее, притормозила у ступенек. Здесь это все произошло. Ничего не переменялось. Мельников открыл дверцу и вылез на размятченный, податливый асфальт. Водитель сказал вдосыл:

— Дуй на оперативку немедленно.

В кабинет Мельников протискивался боком и пригнувшись, чтобы не привлечь внимания, но в дверях его громогласно окликнул начальник:

— Эй, товарищ Мельников! Поближе проходи к столу.

Присутствующие обернулись, и Мельников, словно ему предстоял некий ответственный смотр, смешался под их взорами, косолапая, прошагал к покрытому сукном столу, извечно представляемому под прямым углом к покрытому стеклом столу начальника, и опустился на стул.

Мельников украдкой обвел взглядом кабинет, и некоторые ему кивнули, кто подмигнул, кто улыбнулся, старшина Панкин растянул рот до ушей.

Совещание закруглялось. Начальник спрашивал: «Еще вопросы?» Вопросы иссякали. Гигантской сонливой мухой жужжал на тумбочке вентилятор, дверь в коридор была приотворена, но ни малейшего дуновения. Пылинки не толклись, а словно приклеились к солнечным лучам, пронизавшим шелковые шторы. В набитой солнцем и людом комнате застыла духота. Все были разморенные, жаждущие курнуть в коридорном закутке. Лишь начальник — рыжеватый, горбоносый ингуш с вырванным на затылке клоком — пробрил кастет — издал как плешина, да секретарь горкома партии, Мельников его узнал, при пиджаке и галстукe, выделявшихся среди милицeйских форменок, — были свеженькие, не взопревшие. Подполковник встал из-за стола, уперся пальцами в стекло.

— Вопросы исчерпаны? Выполняйте задачи. Но прежде чем закрыть оперативное совещание, разрешите передать слово первому секретарю горкома партии. Прошу, Сергей Иванович!

Секретарь встал рядом с начальником.

— Товарищи, ваш коллега, постовой наружной службы младший сержант Мельников Василий Николаевич за самоотверженные действия и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, награжден медалью «За отвагу». Мне поручено вручить Василию Николаевичу эту высокую награду...

В комнате захлопали. Мельников подошел к секретарю горкома. Тот подал ему удостоверение, раскрыл коробочку, прикрепил к отвороту кителя медаль: по серебру алыми буквами — «За отвагу», колодка обтянута серой муаровой лентой, — обменялся рукопожатием. Мельников пожал руку и начальнику, и замполиту, и еще кому-то и направился было к месту, но спохватился, принял стойку «смирно»: «Служу Советскому Союзу!» — и после этого сел.

Переждав хлопки, секретарь сказал:

— Позвольте мне произнести несколько напутственных слов Василию Николаевичу Мельникову да и всем вам, пожалуй...

Услышав свою фамилию, Мельников, поднялся со стула. Начальник вполголоса обронил: «Садись, садись». Однако Мельников не садился. И секретарь, бывший до этого серьезным и строгим, улыбнулся, обнаружив мальчишечью щербатинку: «Не неволь его, Аслан Хажбекарович, пусть постоит, а моя речь будет короткой...»

Конечно, чего вскочил — глупо получилось, но и сесть теперь глупо. Стой уж до конца. Величают-то как: по имени-отчеству.

— Василий Николаевич — молодой милиционер, около двух лет он в железнодорожной милиции. Ничем особым не выделялся — дисциплинирован, исполнительен, трудолюбив, а настал черед, и не дрогнул Василий Николаевич. Молодец! Вчера я посетил авторемонтный завод, рабочие говорили мне примерно так: что-то слишком часто в наших газетах печатаются информации о гибели милиционеров в борьбе с хулиганами и бандитами, не пора ли согнуть в бараний рог подонков. И пояснили: пускай в историях наподобие той, что произошла на минводском вокзале, гибнут преступники, а не работники милиции и дружинники. По-моему, рабочий класс рассуждает логично! Так вот, товарищи, будьте гуманными, но будьте и твердыми...

После совещания Мельникова задержали в кабинете секретаря горкома, начальник отдела, его заместители, начальник наружной службы, начальник уголовного розыска. Замполит сказал: «Не многовато ли начальства на одного младшего сержанта, хотя бы и с медалью «За отвагу»?» Начальник отдела сказал: «В младших сержантах он доживает. Досрочно присваиваем очередное звание». Секретарь горкома спросил:

— Василий Николаевич, вы не жалеете, что оставили завод и перешли в милицию?

— Не жалею, Сергей Иванович,— ответил Мельников.— И не пожалею.

— Собственно, я на этот ответ и рассчитывал... Есть только одно «но»... Не исключается, что собутыльники Латкова и Батаренко захотят свести с вами счеты, отомстить. Поймите нас правильно: мы можем перевести вас в любой город, Ставропольский край просторный.

— Сергей Иванович, я понял вас правильно. Однако из Минвод никуда не поеду. Чтоб милиционер забоялся угроз?

Секретарь горкома выпил стакан боржоми и сказал:

— Аслан Хажбекарович, изложи Василию Николаевичу наши наметки.

— Излагаю, Сергей Иванович! Товарищ Мельников, слушай в оба уха! Создаем тебе условия, ты готовишься и поступаешь

заочником в Саратовское милицейское училище, в Ростове учебный пункт, будешь ездить. Это раз. А два: наружная служба расстанется с тобой без радости, зато угро заберет тебя с радостью — оперуполномоченным. Так, товарищи начальники?

Одутловатый лысый майор — начальник наружной службы — кивнул нехотя, кисло, поджарый, с роскошной шевелюрой, старший лейтенант — начальник угрозыска — кивнул энергично и бодро. Секретарь горкома спросил:

— Вы же мечтали быть оперативником?

— Мечтал, — ответил Мельников.

— Месячишко — и превратишься в сыщика, — сказал начальник отдела. — Раскрою карты: будет вакансия, Любашенко увольняется по состоянию здоровья. А пока что несколько подкуеешься в оперативном смысле.

«Волга» увозила Мельникова домой. Когда она разворачивалась, он увидел: отбывает электричка, на втором пути — поезд дальнего следования, какой же это, не минский ли? Мельников высунулсЯ поверх опущенного ветрового стекла. Шофер сказал, перекаывая папиросный мундштук по зубам:

— Поберегись, кумпол еще пригодится. Медаленосец! А мне не светит, вожу-развожу, благодарность и денежная премия — потолок.

Легковуха шуршала покрышками по асфальту, подпрыгивала на булыжнике, и сиденье покачивало, баюкало Мельникова. Откинувшись на спинку, он зевнул. Клонит в сон: переволновался, устал, разморило духотой. Дождичка бы! Над городом ни облака, над предгорьями и Эльбрусом вереница буро-сизых и плотных туч, будто свитых в кольца.

Орденосец — так говорят, медаленосец — нет, не звучит. Но, хотя денежная премия никогда не помешает, медаль — это действительно награда. Серебрится на лацкане, отражает солнечные лучики. Не скрою: горжусь! Вида, правда, не подаю. Как меня Сергей Иванович спросил: «Не жалеете, что перешли в милицию?» Честно ответил: «Не жалею». И не раздумывал тогда, идти или не идти. Пошел.

Он прикатил из армии, устроился к Шуре на стекольный — она в лаборатории, он электриком. Мирно и благополучно: утром на пару ездят на завод, возвращаются на пару; вечером — в кино, на концерт, в гости или дома радио послушать, книжку почитать, с Толькой позабавиться. И нате — звонок из горкома: зайдите, пожалуйста. В горкоме инструктор заявил: вы член партии, служили на границе, требуется укрепить кадрами милицию, между прочим у нас в милиции изрядно бывших пограничников. Он сказал: я готов, с детства мечтал быть милиционером. Инструктор воспринял это как иронический отказ,

разобравшись, сунул ладошку лодочкой: приветствую, что наше предложение совпадает с вашим желанием. Но домашние! Шура против, теща на дыбы, шум был великий. А Мельников, ей-ей, со школьной скамьи метил в милиционеры, в шестом классе писали сочинение: «Кем я хочу стать»,— и он написал: милиционером. Класс потешался: кто — в пилоты, кто — в инженеры, кто — в морские капитаны, кто — врачом, кто — учителем, а этот чудик — милиционером, уморил! Из того, чем он объяснял в сочинении свое стремление, память удержала: милиционер — это человек благородный и бесстрашный, преступников ловит. А потом, после школы, о милиции как-то подзабылось: поработал учеником электрика на мелькомбинате — и в армию, на границу, демобилизовался — на стеклозавод.

Еще про Атянина сказал Мельников в горькоме: бандиты за-резали моего близкого друга, сержанта Гришу Атянина. Демобилизовавшись, он по комсомольской путевке строил ГЭС на Енисее, там, на стройках ГЭС и заводах, на уже выстроенных предприятиях столько бывших пограничников, что те края в шутку называют «Красноярский пограничный округ», ну и шантрапы хватает,— в полночь грабители раздевали женщину, Гриша бросился на ее крики, его искололи финками, уже бездыханного все еще кололи...

Гриша, Гриша, друг сердечный! Мы с тобой года полтора прослужили вместе, померзли, пободрствовали в ночных нарядах, попетляли по чужим следам, задерживали заблудившихся геологов, чабанов, охотников, но настоящие нарушители мне не попадались, тебе еще как попадались. Широкой натуры ты был, отзывчивой, учил меня следопытству и прочим пограничным премудростям, культурный был, стихи читал, про Лермонтова рассказывал, про Тарханы, где он захоронен; меня это всегда как-то будоражило: из Пятигорска, где ныне на Машуке лермонтовский обелиск и телевышка, через всю Расею-матушку плетутся перекладные с телом поручика Тенгинского полка в свинцовом гробу-сундуке, и как бабка его и воспитательница, Елизавета Алексеевна, с балкона усадьбы выглядит, не везут ли Мишу, и как дворовые, высланные вперед, шлепают лаптями к усадьбе: «Везут! Везут!»,— и как старуха Арсеньева тяжело спускается к обляпанным грязью дорогам; Гриша Атянин рассказывал: могила Михаила Юрьевича — в семейном склепе, гроб — в подземелье, под цементным полом, туда ведут ступеньки, в нишах горят свечи, на крышке свинцового запаянного сундука полевые цветы, экскурсанты приносят. Гриша там был, Тарханы недалеко от Пензы. Друг сердечный, Гриша! Ты также покоишься в гробу — не запаянном, не свинцовом, в деревянном. Не уберегаем мы хороших людей, ей-богу!

А моя профессия — беречь их, начиная с поэтов и до уборщиц. Когда согласился идти в милицию, мою кандидатуру обсуждали на общезаводском собрании. Утвердили. Дали наказ: помогай добру, борись со злом. Дельная у меня профессия, хотя и рисковая, мужская. Стану оперуполномоченным, сыщиком — будет еще рисковей. Ну что ж, пусть.

Мельников затяжно зевнул. До чертиков охота домой, к близким. И спать охота до чертиков.

Выписавшись, Мельников трое суток пробюллетенил. Отоспался. Починил кое-что по хозяйству. Покопался в садочке и на огороде. Рука не болела. Надобно и честь знать, кончай лодырничать.

Сегодня на службу. Воскресенье. И та же смена — с шестнадцати ноль-ноль. До отправления оставался часик с гаком. Мельников восседал на приступке так, чтобы, оставаясь в тени, выставить под солнце левую руку. Врачи рекомендовали прогревать, вместо соллюкса. Прогреваем. Кожа загорела, шрам выделяется — рубчатый, багрово-синий, кривой. И массаж рекомендовали. Помассируем. Разминая мышцы — боль тоненько возникала, будто от уколов, — Мельников прикидывал, как продержаться до двадцатого, до получки.

Вечно недостает грóшей. В милиции выплатят раз в месяц — и в распыл, они с Шурой не умеют экономить. Будь, как на заводе, выплата первого и пятнадцатого, невольно тратили б разумнее. Да и, если напрямки, грóши у него небогаты. Теща подковыривала: «Электриком-то, кажись, поболее зарабатывал?» Столько же. Да народная мудрость гласит: не в деньгах счастье. Но потребны они, проклятые, до коммунизма мы еще не дожили. Шура и то больше меня зарабатывает. Глава семьи, кормилец называется. Ладно, как-нибудь перебьемся до двадцатого, теща подкинет из своей тридцатирублевой пенсии. Подзанять у кого? А родится дочь, расходы возрастут. Не унывай: у опера оклад повыше.

Под тренировочными брюками жарко, шерстистая грудь под майкой и шея в мельчайших родинках, обсыпавших веснушками, чесались от вьедливого пота, зато босой, раскрепощенные пальцы в удовольствии сами собой пошевеливались. В смежных двориках кукареканье и музыка: и про белых медведей, и про синие очи, и про черные ночи, про все, только вот Босоцкий ни про что не хрипел. Не хрипит — я не настаиваю, переживу. Хотя, может, в стихах, в песнях я не понимаю, извините, ни фига?

У загородки Савелий Степанович Дудукин в трусах и без майки.

— Выходной?

— Заступаю, Савелий Степаныч.

— Канули, Василий, вольготные денечки?

— Сколько ж можно прохлаждаться? Дежурство с шестнадцати.

— Да-да-да,— сказал Дудукин, не очень слушая Мельникова.— Проблема о модах любопытна до чрезвычайности. Философия! Какое я обосновываю мнение в отношении мод? Коснемся дамских, то есть бабских. На сегодняшний день бабы, а будем точны — девахи носят юбки и платья выше колен. На манер моих трусов.

— Покороче,— сказал Мельников, потому что дудукинские трусы были длинные.

— А указанная мода существовала при нэпе, распрекрасно помню. Нэпманочки разгуливали расфуфыренные, а юбочки — досюда! По прошествии нэпа платья и юбки стали носить ниже колен, позавчера ж из «Работницы» вычитал: во Франции с будущего сезона переключаются на длинющие, как у монашек, и картинки приложены. Из сказанного следует вывод: и до наших, доморощенных модниц докатится! Моды повторяются, Василий!

«Действительно, все возвращается на круги своя,— подумал Мельников.— И ты, Савелий Степаныч, все о модах да о модах».

Из-за жерди по-старушечьи проверещали:

— Савка, бисов сын, ходь сюды!

— Окаянная, не даст побалакать про философские проблемы,— сказал Дудукин и заковылял к своей хате.

— До свиданья, Савелий Степаныч,— вежливо сказал Мельников.

Под жердину подлезли Толька и соседская девчушка — от Тольки отличается тем, что в платьице, а так чумазая, колени в ссадинах, с облупленным носом, на голых пятках прокручивается.

Они пристроились на пеньке, и девчонка, окуная соломинку в блюдце с мыльной пеной, пускала радужные пузыри — они раздувались, раздувались и лопались. И Толька водил соломинкой по блюдцу, дул, у него пузыри не выдувались. Он попросил:

— Научи меня.

— Да ну тебя! — сказала девчонка небрежно: она была постарше Тольки.

Толька достал из-за пазухи незрелое и грязное яблоко, подал девчонке:

— На, кушай, вырастешь настоящим мужчиной.

Повторил Шурины слова, она их произносит, когда Толька плохо ест. На девочку это не произвело впечатления. Толька, поразмыслив, начал грызть яблоко. Мельников сказал:

— Помыл бы, Толя. И вообще неспелые есть нельзя, живот заболит.

— Научи меня,— повторил Толька.

— Да ну тебя, отстань,— сказала девочка и, прихватив блюдце с мыльной водой, перелезла к себе. Толька уныло догрыз яблоко, с запозданием пустил ей вдогонку:

— Манька-встанька! Ябеда!

— Толька, не вредничай,— сказал Мельников.— Подойди-ка.

Он обнял мальчишку за щуплые плечи, взъерошил челку. Толька сказал:

— Пап, порисуй в альбоме.

— Собираться скоро...

— Немножко! Я притащу карандаши...

Он принес коробку цветных карандашей, довольно потрепанный альбом, на три четверти заполненный художественными творениями Василия Мельникова: пограничники в зеленых фуражках, с овчаркой. Мельников полистал альбом и спросил:

— Что ж тебе изобразить? Может, милиционеров для разнообразия? Синие фуражки, синие шинели?

— Не-не! Давай пограничников с собакой. Зеленые фуражки, автоматы... Пограничники ловят шпионов и диверсантов, а милиционеры — жуликов!

— Ты прав: милиционеры ловят жуликов.— И стал чиркать карандашами: некий вариант того, чем заполнен альбом,— пограничник залег за кустом, выставил автомат, напарник, привстав на колено, поднес к глазам бинокль, у овчарки настороженные уши. Художник он не так чтобы уж очень, но Тольке нравится. Неплохо б самого пристрастить к рисованию.

Теща напомнила через дверь:

— Василь, собирайся

— Да вот Тольке дорисую... Толька, не исчезай, не попрощайшись со мной.

— Угу,— сказал Толька.— Постараюсь.

— Постарайся,— сказал Мельников и пошел в сенцы. Слазил в погреб, нацедил кружку холодного кваску. В жару — вещь!

В комнате с прикрытыми ставнями Шура орудовала спицами, вязала — как их там, колготки? Живот выпирал между стулом и столом. И Мельников сказал:

— Рацпредложение: буду в субботу либо в воскресенье свободен — махнем, например, в Пятигорск. Мы не были с тобой в верхнем парке. Где бывшая нарзанная галерея. Там широкая

кремнистая тропа, и говорят, что Лермонтов о ней написал: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит...» И беседка с колоннами там, зоолова арфа, прислушаешься — точь-в-точь на арфе играют, это от ветра... — Сделав над собой усилие, прибавил: — Съездим, Шура?

— Некогда. У меня ворох шитья и вязанья. Да и пузо-то, — сказала жена будничным тоном, и Мельникову стало скучно.

Чтобы подавить эту тоскливую скуку, он подумал, что с его стороны все это, в общем, неблагоприятно, с чего хандрить: уцелел в такой передрыге, жив-здоров, Толька подрастает, жена родит дочь. Все-таки ему повезло.

Он открыл шкаф, где на плечиках висел китель с медалью, снял с вешалки брюки, форменную рубашку и подумал: «Но мне и еще в чем-то повезло». А в чем — не мог сообразить. Одевался, чистил-блистил туфли, примерял у зеркала фуражку — так и не сообразил.

— Будьте здоровы, мама, — сказал Мельников.

— Счастливой службы, Василь, — сказала теща.

Что-то новое. Раньше произносила: «Покеда» или «Проще-вай».

Мельников прикоснулся щекой к щеке Шуры, она обняла его за шею:

— Вовремя возвращайся.

— Прибуду по расписанию. А ты спи!

— Я не буду спать. Вязать буду, шить...

А Анатолий Васильевич уже испарился — ни в квартире, ни во дворе. И след простыл. Бесенок!

Зной прокалил пыль и булыжник, саманные и кирпичные заборы, стволы деревьев, воздух, как в цеху, где варят стекольную массу. На улице ни кошек, ни собак, ни людей. Лишь не доходя угла, Мельников встретил старика в чесучовой паре; представительный, с выправкой, с застарелой привычкой повелевать, он спросил:

— Ты Мельников?

— Да, — сказал Мельников.

Старик в чесуче потряс ему кисть и, не проронив ни слова, направился дальше. Старик небезызвестен Мельникову: генерал-отставник, проживает где-то в их районе, прежде смотрел пристально и словно не замечал его, теперь заметил, поручкался... Благодарю, товарищ генерал.

А последующая встреча была, как всегда, неожиданностью. Осувшаяся, поблекшая, но с оголенными коленками Лариса раздувала ноздри с вырезом, покачивала обтянутыми бедрами. Молча поклониться ей или сказать: «Здравствуй, Лара», — и, остановившись, объяснить происшедшее или попросту пройти,

как незнакомому? Обычно она опережала его «Здравствуй» своим «Привет!». И на этот раз опередила — ненависть смяла ей лицо,— Лариса свистяще прошептала:

— Убийца!

На него пахнуло духами, как цветущей белой акацией, и запах очутился за спиной. Мельников не вздрогнул, не обернулся, не замедлил и не убыстрил шаг. Он по-прежнему шел, чуть скосив плечи и щурясь, будто приглядываясь к чему-то. Однако лицо у него побледнело, и он подумал: «Хорошо, что она этого не видит». Спустя несколько шагов бледность, вероятно, исчезнет, и не исчезнет осенившая догадка: ему еще повезло в том, что у Ларисы нет ребенка.

И тут он подумал: «Она обозвала меня убийцей?» Он пересек мостовую, поздоровался с казачкой-молодаикой в косынке, завязанной узелком под подбородком, направился к автобусной остановке. Он шел и чувствовал: с каждым шагом, отдалявшим его от Ларисы — отдаление было обоюдное, Лариса также уходила прочь,— натягивается та последняя, слабая ниточка, что еще привязывала его к ней. Натягивается, чтобы порваться. Она будет натягиваться и сейчас, и в автобусе, и когда он выйдет из автобуса. Она лопнет скоро — едва он увидит привокзальную площадь с ларьками, с кремowymi скамейками, с цементной мусорницей в виде цветочной чаши и цветочной чашей в виде мусорницы, с каменными ступенями, ведущими к вокзалу...

Кажется, в шестнадцать ноль-ноль все тот же зной, ан нет, преодолена неуловимая грань, повернуло к спаду, минет часик-другой — задышитесь малость полегче. Мельников похаживал в тенечке по перрону возле полукруглой колоннады и сводил и разводил лопатки, чтоб майка отклеилась. Зимой на посту лучше: шинель, ушанка, сапоги, бодрящая прохлада, хоть и сыро, порой рыхлый снег валит, а снегом на Кавминводах не избалованы, града — в избытке, будь он неладен, бьет цвет, завязь, плоды в садах и огородах, стекла в окнах.

К электропоезду провихляли парни: красные рубахи и парусиновые брюки-клеш, как униформа,— команда, из тех, что работают под битлов, долгогривые, аж жалко их в эдакую жарынь, стричься б покороче, да форс обязывает. Табунятся, тренькают на гитарах, хохмят: «Детишкам на молочишко, жене на духи, а мне на коньяк!» Весьма остроумно, остроумней некуда! А актер Босоцкий не в красной ли рубахе и парусиновых брюках-клеш? Что за чушь! Кончай отвлекаться, Мельников! Ты на службе.

Он достал из бумажника две фотографии из размноженных, всмотрелся, спрятал. Двое — молоко на губах не обсохло,— убившие зимой Голенкова: ночью сопровождал рабочий

поезд до Беслана, проводник навел его на подозрительных, он потребовал документы, они обманно напали, выдернули голенковский пистолет из кобуры, застрелили, в проводника не попали, прыгнули на подъеме. После Голенкова остались трое детей, мать, жена. Что один милиционер на поезд? Сколько было говорено на оперативках: парный наряд нужен. Теперь объявлен всесоюзный розыск. Найдутся. Как отыскался некто Петренко из Ставрополя. Там было: из охотничьего ружья блатарь застрелил блатаря, чего-то не поделили; кореш убийцы Федор Петренко хватает ту же «тулку» — легавого укою, вдвоем присудят к вышке, — солидарность: мол, блатарили вместе и вместе получим высшую меру, блатари — по натуре истерики. Ворвался в отделение милиции, жажнул в дежурного, к счастью, не убил, а ранил. Блатарей в КПЗ, и Федька Петренко, мобильно раскидав мозгой, послал эту солидарность подалее и драпанул из-под стражи: собирался добраться до Батуми, граница рядышком, а пограничники для чего, сам служил, знаю. И что там Батуми, у нас в Минводах опознали и зашучили.

Мельников оглядывал проходящих и прилипших к скамейкам людей. Народищу уйма. Разгар лета. В сутки одних электричек сколько, да поезда дальнего следования, и рабочие, и еще прибавилось туристских поездов. Работенки по горло.

Он указал очкарику в джинсах, где буфет, подумал: «Продержу полсмены, встречу «шестерку» на Баку и тоже заверну в буфетик, поспедать, как говорит старшина Панькин». Бормотание репродуктора, разговоры, смех, транзисторная музыка, потуги ресторанного джазика. В смеси этих звуков Мельников различил: шумят подле пивных бочек, громче нормального, скандалисто шумят — и зашагал туда.



ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Вы можете застраховать принадлежащие вам автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотоколяски, моторные, парусные и гребные лодки, катера и другие суда.

● Органы Госстраха выплачивают возмещение в случае гибели или повреждения средств транспорта в результате аварий, пожара, взрыва, наводнения, бури, урагана, удара молнии, землетрясения и других стихийных бедствий, а также в случае похищения и гибели или повреждения транспортных средств, связанных с угоном.

● Возмещение в случае гибели или угона средств транспорта выплачивается в пределах страховой суммы в размере причиненного ущерба, а при повреждении их — в размере стоимости ремонта.

● Страховой платеж уплачивается сразу за весь срок страхования, при этом лицам, страховавшим транспортные средства не менее двух лет без перерыва и не допустившим за это время аварий, при оформлении нового договора со страховых платежей предоставляется скидка.

Ознакомиться с условиями страхования и оформить договор можно в инспекции или у агента Госстраха.

ГОССТРАХ РСФСР.